

БАГРЯНАЯ МЕТКА



ЛИСАВЕТА ЧЕЛИЩЕВА

18+

Лисавета Челищева

Багряная метка

<https://litres.ru/74643884>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зараза не имела имени. Её называли по-разному: Багряная Смерть, Кровавый Мор, Багрянка.

Много веков назад что-то вырвалось из глубины гор. Не война, не мор. Хуже. Жертвоприношение, доведённое до крайности, обернулось против людей. Кровь заражённых менялась, становилась ядовитой для одних и смертельно притягательной для других. Так родились багряные — те, кто не мог больше жить без чужой крови.

Не мёртвые. Не живые. Иные.

Но и люди научились выживать. Они отгородились частоколами и верой. Жгли травы, пили горькие отвары, замаливали грехи предков.

Мирка всю жизнь прожила в такой деревне — работала, любила и не догадывалась, что всё это время из леса за ней хищно следили.

Пока однажды на её шее не проступила багряная метка.

(Этно-постап / Вампиры / Обратный гарем / Темное славянское фэнтези).

Ненормативная лексика, сексуальный контент 18+,
эмоциональные страдания.

Содержание

Пролог	5
Утро в Мглани	11
Крепость Безсмерт	20
Тень на снегу	28
Возвращение охотника	35
Ночь при свечах	43
На дне озера	52
Затишье перед тьмой	57
Сладкие думы	64
Счастливый быт	69
Плод услады	80
Схватка интересов	91
Бесстыдница и бесстыдник	98
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Лисавета Челищева

Багряная метка

Пролог

Задолго до того, как пагуба получила имя, грань меж Явью и Навью начала гнить. Ночи растянулись на шестнадцать часов. Из топких болот поползла хмарь, а вековые ели давились собственными корнями. В глухомани, стиснутой каменными хребтами, стояло городище Обзань — цитадель из замшелого плитняка. Обзань держала за горло весь лесной край. Если платили ей дань, скованные круговой порукой, лишь бы откупиться от того, что уже шевелилось во мраке.

А глубже, у самых отрогов гор Веретети, пряталась деревушка Мглань.

Её тяжелые, рубленные в три этажа избы вращались нижними венцами в стылый наст. Когда Морана сковывала реки льдом, а под окнами, хрустя снегом, рыскало волчье племя, во Мглани не знали ни голода, ни мора. Пока кочевники выжигали южные земли, здесь пухли от сытости клети.

И мгланцы знали цену этой сытости.

В каменной кишке Веретенских пещер, куда не пробивался даже полуденный луч, жила хозяйка гор. Местные звали её Вереной, не ведая, что молятся не богине, а Праматери —

первому удачному детищу тьмы, вышедшему из-под ножей волхвов-кровопролийцев. Когда земля скудела, старейшины несли в горы требу.

Каждые несколько зим брали парня покраще, не старше двадцати весен. Скручивали его волоком, ломали пальцы, чтоб не ерепенился, и тащили на капище. Вязали сыромятными ремнями к скале. Выживет к четвертому утру — значит, хозяйка гор приняла его плоть. Тогда в живую грудь жертвы вбивали дубовый кол, пуская горячую кровь, и засыпали мерлушку землей заживо.

Никто не шёл к горе сам. Но община исправно платила кровавый налог. Иногда даже раньше срока — если ревнивые девы в деревне начинали грызться из-за одного парня, старейшины просто отдавали смутьяна во тьму.

В тот год у знахарки Рогнеды вымахали сыновья: чернявый охотник Митро, белобрысый, как таволга летом, Томор и тихий русый Лукаш. Порода в них играла дурная, порочная, резала глаз и девкам, и замужним бабам. В старших сыновьях словно не кровь бродила, а хмельное сусло.

По лету, когда чаща дурела от запаха медуницы, братья уводили деревенских девиц на сеновалы. Стравливали их, как сук. Митро брал с размаху, до багровых пятен на девичьих бедрах, до прокушенных в кровь губ — жадно, по-звериному. Томор же тянул жилы медленно, с барской ухмылочкой, заставляя девок ползать на коленях и вымаливать долгожданное соитие.

А Лукаш, самый младший, всегда прятался в тени лапника. Глотал судороги, пялился лихорадочными глазами на переплетение лоснящихся тел, пачкая руки в одиноком, стыдном восторге.

На рассвете они вваливались в родовую избу, пропахшие овсяной соломой и блудом. Рогнеда встречала их с ухватом:

— Волки бешеные! Допрыгаетесь, разверзнется под вами твердь когда-нибудь!

Митро скалился, тиская мать за плечи горячими ручищами:

— Сами вешаются они, подолы рвут. Наша ли вина, что мы из такого воска леплены, что глаз не отвести?

Томор лишь щурился:

— Сорная трава, матушка. Сама под косу ложится. Чего не косить-то?

На Купалу Митро попортил Любаву — дочку верховного старейшины. Уволок в папоротники, выжал досуха на волчьей шкуре и бросил. Девка тронулась умом. Сохла, каталась по половицам, лила свою заговоренную кровь ему в брагу, вязала узлы-наузы на его одеждах. Ничего не брало Митро. Рогнеда, мать его, молча жгла неумелые подклады девицы на углях, отшептывая порчу от сына.

— Отступись, — хмурилась она над котлом. — Старик за дочку свою с нас шкуру спустит. Что вы творите?

— Перебесится, — отмахивался Митро.

Но по осени во Мглань притащился Вальдемар — приё-

мыш из чужой веси, ставший братьям Рогнеды ровней. Закадычный друг, такой же охотник до чужого бабьего крика. Упившись мухоморного отвара однажды, они сбили девок в кучу на овсяном поле. Любава пошла на пьяный гогот и из-за ольхи увидела всё: чужие губы на губах Митро, их сплетенные руки, ненасытную похоть.

Наутро рыбаки сетями достали несчастную девушку из черного бочага в лесу. Глаза выкатились, в губах — зеленая тина.

Старейшина почернел от горя за дочку. Тайный совет Мглани решил коротко: выкорчевать заразу из деревни с корнем, отдать кровавой горе всех троих братьев разом. Заодно и приёмыша, их дружка, прихватить.

Ночью кузнецы выбили двери дома Рогнеды. Сонных братьев скрутили теплыми, прямо с постелей. Порвали рубахи, потащили волоком в горы всей деревней.

На алтаре их разложили рядком. Горный ветер поглотил тонкий визг Лукаша, ругательство Митро и надменный шепот Томора. Дубовые клинья сочно хрустнули, проламывая ребра их молодых грудин. Кровь, густая от хмеля, залила обледенелый гранит. Мглань наконец выдохнула, спихнув изувеченные тела братьев в глубокую яму.

Они не знали, какую хтонь разбудили.

Рогнеда не была по-бабьи. Смерть всех сыновей выпотрошила её нутро наружу. Она скинула расшитые поневы, обернулась в дерюгу и босая, оставляя на насте кровавые следы,

ушла во тьму Веретенских пещер, где по слухам жила Она.

Рогнеда не просила. Она била кулаками по сырому камню, требуя кровавой мести, пока не переломала все фаланги. И Хозяйка Гор откликнулась на ее мольбу.

Сделка с Праматерью ломала человеческое естество. Тьма летучих мышей облепила знахарку. Они жрали её заживо, выцеживая материнское горе из вен. Три луны Рогнеда гнила в прохладном мраке пещер, пока довольные селяне набивали животы свежими караваями.

А потом мёртвое сердце женщины стукнуло. Лишенная кожи, Рогнеда поползла по камням, лоя мышей и дробя выросшими клыками их хрупкие кости. Она впитала их черную кровь, их хищную слепоту и слух. Когда она вновь открыла глаза, в глазницах тлел багровый уголь. Первая обращенная из нового извода.

В ту же ночь Рогнеда разрыла курган, где покоились ее мальчики. Обломанными когтями выдрала дубовое гнилье из груди сыновей, вдунула в них навий холод, подняв из мертвых. К ним встал и Некрас, её муж, когда-то давно погибший на охоте, — холодный, отстраненный, принявший проклятие вечности жены и вставший во главе нового выводка.

Они назвались Безсмерт. Семья восставшая из Нави.

Деревня Мглань той длинной ночью захлебнулась в крови. Митро рвал кадыки мужикам, заливая алым пожарища; Томор аккуратно ломал хребты, тем кто когда-то ломал его;

Вальдемар пил девок до сухой шелухи. Выжгли почти всё в деревне. Рогнеда не тронула лишь двор семьи Костичей — там жила её подруга давняя Агафья, носившая ей сухари и молоко во время траура, — да дом Белозеров, где жил возлюбленный Агафьи. Она не стала крошить чужие судьбы до конца.

Минули века. Мглань отстроилась, обросла новыми избами и дворами, чистыми частоколами, забыла старых волхвов и богов.

На вершине неприступной скалы, в городище, утыканном идолами, застыли во времени четверо в своей крепости. Время не брало их плоть, лишь скручивало рассудок. Рогнеда держала их в узде века, пока сама не шагнула в бездну, устав от багряной жажды и оставив сыновьям лишь один завет — не лезть никогда к людям.

Но теперь над Мгланью снова нависла тень. Лучшие девки общины начали пропадать в дремучих лесах. Их находили у гор спустя время — выстуженных, пустых, с разорванными воротами рубях. Деревня шепталась, что старая Хозяйка Гор проснулась после долгой спячки.

Они не знали, что в мёртвых горах, где давно истлели птичьи кости, зреет нечто иное. Багряное семя искало выход, а высшим хищникам больше не хватало просто крови — им потребовалось живое тепло.

Утро в Мглани

Половицы жгли пятки вѣдливѣм холодом. Мирка сбѣгала по скрипучим ступеням скорыми шагами, не давая босым ногам прильнуть к выстуженному листовничному тесу. Русые космы, с вечера не знавшие гребня, путались на плечах, лезли в лицо. Под мышкой она зажимала тяжелый, обернутый в заскорузлую телячью кожу переплет — Данко вчера вечером сунул его в полутьме читальни, шепнув на прощанье: «Перелистаешь до зари и неси назад. Не дай бог старейшины перехватят — вместе на колу сохнуть будем».

В горнице сипло, с угаром дымила печь. Мать сидела у самого зева, укутавшись по самые уши в выцветший козий платок. Лицо Умилы с утра отдавало серым оттенком, а под глазами залегла синева. Завидев дочь, женщина выдавила тень улыбки, пальцы ее судорожно, без остановки теребили льняную бахромѹ на скатерти.

На столе остывала глиняная кружка. По горнице несся тошнотворный дух полыни и растертого пепла — этим отваром Умила пыталась глушить кашель.

— Не приходил? — вместо привѣтствія спросила Мирка. Голос спросонья звучал шершаво.

Она подступила к матери, прижалась губами к ее горячему, липкому от пота лбу. Жар спал за ночь, но глаза еще блестели.

— От Гордея-то? — Умила отвернулась к печному полусвечнику, тяжело сглотнула. — Не было его. В Заречье мужики ковочные видали его. Пьет у новой бабы своей, дом наш под залог закладывает...

Мирка только зубы сжала от гнева. Слов тратить на гулящего отца не стала — и так всё ясно было. Она подошла к оконцу, ногтем соскребла иней с мутного стекла.

За частоколом лежал мертвый, выстуженный наст. Ни следа, ни птичьей лапы. Только черные, корявые стволы дубов да снежная стена вековых елей там, где кончалась чистая земля и начинались Багряные угодья. Лес не просто стоял — он дышал в сторону деревни сырым морозцем, ограждая живых от мертвых земель. Сколько Мирка себя помнила, этот мрак за воротами не пугал ее, а манил даже — горячо, неотвратно, будто там, среди багряных озер и ядовитых болот, лежал ответ, за чем её вообще на этот свет выплюнуло.

Она отлепилась от окна, оглядела скромную горницу.

— А малая где?

Умила пригубила горькое зелье, поморщилась, пытаясь скрыть озноб в руках:

— К Чураку сбегала. За сушеной мятой да зверобоем. У нас в сундуке одни стебли трухлявые остались...

Мирка аж осанулась, вскинув бровью:

— Совсем с ума сошла одна идти? Куда ты смотрела, ма? За порог одну выставить? Нынче ж туман с гор валится, а ей тринадцать весен всего! Забыла, как у Белозеровых девка

в прошлый солнцеворот до ветру вышла да не вернулась? Только рубашку драную на ельнике и нашли!

— Мирка! Не нагнетай мне тут. Да что с ней станется, на улице ж светло еще... — пробормотала мать, но взгляд потупила, виновато вжав голову в плечи.

Мирка не стала дожидаться сестры. Сбросила книгу на лавку, мгновенно влезла в жесткие, пропитанные дегтем юфтовые сапоги. Кожа на задниках заскорузла от мороза, больно въелась в пятки. Сорвав с крюка засаленный овечий тулуп, она накинула его наголову и выскочила на крыльцо. Засов тяжело загремел за спиной — Мирка дважды дернула скобу, проверяя, плотно ли села дубовая плаха.

Во Мглани дышалось тяжело с недавних пор, с саднящей гарью. Каждая изба здесь защищалась как могла: пороги были щедро измазаны смолой с пеплом, над воротами висели пучки заговоренного можжевельника, а у колодцев дежурили мужики с серебряными ситами — процеживать питьевую воду от кровавой взвеси. Из редких труб валил сизый дым: жгли коровьи кизяки и отсыревшую осину.

В лавке Чурака пахло сушеными кореньями, а не чем-то съестным. Едва Мирка переступила порог, ей в лицо ударил печной чад. Пришлось прокашляться.

Видана карабкалась на покосившийся берестовый табурет, вытягивая тонкую, по-птичьи хрупкую шею к верхним полкам, где среди мешков с солью висели желтые веники зверобоя.

— А ну стоять! — рывкнула Мирка, подлетая к табурету.

Видана от неожиданности ойкнула, поскользнулась на гладкой доске и чуть не рухнула в кадь с квашеной капустой. Мирка сгребла ее за загривок, сдернула на пол, крепко сжав тонкие пальцы сестры в своей ладони.

— Ты чего дуришь?! — малая надула губы, попыталась вырвать руку. — Я ж за травой!

— Я тебе дам «за травой»! — сквозь зубы процедила Мирка, таща ее к выходу. — Ещё раз одна из избы шагнешь — сама лично в погребе на цепь посажу. Дома сидеть, у печи!

Чурак, молча сидевший в углу за прилавком и строгавший осиновый клин, лишь тяжело вздохнул, подперев щеку кулаком. Он проводил сестер Костич мрачным взглядом человека, который слишком хорошо знает, чем кончаются прогулки молодых девок по зимнему первопутку, но называть вещи своими именами не стал. За такие слова во Мглани быстро пускали под лед.

За околицей ветер сдох. Свежий наст под подошвами крошился с стеклянным лязгом. Видана семенила следом за сестрой, помалкивала. Мирка прикидывала в уме, на сколько дней хватит жалкой горсти перловки и что нести к Чураку на обмен — медный таз или отцовский полушубок. Мать таяла с каждым днем, как восковая свеча на сквозняке.

У самых ворот малая дернула её за рукав:

— Возьми меня на частокол? Помогу.

Мирка стряхнула её пальцы.

— Ещё чего. Я одна пойду. Дров наломаю. А тебе, если высидишь у печи, пустоцвет принесу. Морозовый.

— Бреешь. Они ж под снегом не выживают.

— Эти — выживают.

Она затолкнула сестру в сени, швырнула кулёк с травами на лавку. Схватила из угла пеньковую вервь, обмотала вокруг кулака и двинула к лесу.

Мёртвая черта начиналась сразу за кольем частокола. Мирка нырнула под низкие, облепленные колючим инеем лапы елей. Сугробы здесь намело по самое бедро — она продиралась с трудом, проваливаясь, глотая ртом мороз, дерущий горло. Ломала сушняк с хрустом. До сумерек оставалась всего пара часов, а багряные земли не прощали тех, кто мешкает после заката.

Чаща замерла. Затихло все вокруг. Мирка выпрямилась. Спину кольнуло чужим взглядом — так смотрит в затылок голодное зверье.

Она резко обернулась. Никого. Лишь пепельные стволы да синие провалы теней. И вдруг на кривой лапе старого кедра мелькнуло рыжее пятно. Векша. Зверёк замер, вцепившись коготками в кору, уставился на человека чёрными буркалами.

Мирка выдохнула облачко пара. Порылась в кармане тулупа, выудила пару кедровых шишек, бросила в рыхлый снег.

— Бери, пока дают. Нынче всем тошно.

Векша юркнула вниз. Мирка отвернулась к сухостою, не ведая, что тремя саженьями выше, слившись с узловатой корой, распласталось нечто иное.

Он вжимался в ствол, не дыша. Чёрные, ороговевшие когти намертво впились в промёрзшую древесину, выдавив каплю смолы. Видел, как она клонится к земле, как натягивается холст застиранной рубахи на спине, как обнажается пульсирующая жилка на ее шее. В ноздри бил запах девицы — сладкий, правильный, сводящий с ума. От него болезненно сводило клыки. Молодая, горячая кровь искрилась под её кожей, обещая излечение, о котором он так просил в частых кошмарах.

Так хотелось ему сорваться вниз. Распороть, вылакать это живое тепло до дна, сожрать вместе с криком.

Но он висел неподвижно. Тяга по человеческой крови рвала нутро, путала звериные инстинкты Безсмерта с человеческой тоской. Это был уже не просто голод. Эта мания ломала его изнутри.

Мирка стянула валежник в плотную вязку, закинула на горб. Верёвка больно врезалась в ключицу. Обратно шла ходко, увязая по колено, почти бегом, ни разу не обернувшись. Затылок жгло всё сильнее, но она знала: покажешь лесу страх — не выйдешь.

Когда сапоги ступили на утоптаный снег деревни, сизые сумерки уже сожрали околицу. Мирка сбросила вязанку у крыльца, потянулась к дверной скобе.

И тут от хлева — там, где держали единственную тощую козу — донёлся звук.

Удар об стену. Возня. И сиплый, булькающий хрип, от которого по спине пополз ледяной пот.

Верёвка выскользнула из пальцев и шмякнулась в подталый снег. Мирка метнулась к хлеву — створка была снята с крюка и едва слышно поскрипывала на ветру.

Она толкнула доски плечом и шагнула в сырую темь. Пахло прелой соломой, выстуженным навозом и... осклизлым духом свежепотрошенной туши.

Пеструшка лежала на боку. Брюхо ей разворотили от паха до грудины.

У Мирки перехватило дыхание от картины перед глазами. В тот же миг за спиной, со стороны крыльца, взвился тонкий, отчаянный девчоночий визг. Видана. Прибежала на шум, застыла на пороге, зажав рот обеими ладошками.

— Тихо! — Мирка развернулась, сгребла сестру за плечи, прижала к себе так, что у той перехватило дыхание. — Тихо ты, не кликай лихо!

Девчонка забилась в её руках, задыхаясь от слез, уткнулась носом в Миркин тулуп.

— Ступай в избу. Слышишь? Задвинь засов на два оборота, подставь колья. Я вслед за тобой.

— Не оставляю... Мирка, мне страшно!

— Иди! — отрезала Мирка, толкнув её к крыльцу. — Быстро! За матушкой пригляди!

Видана метнулась по снегу к дому, спотыкаясь и роняя слезы. Стукнула тяжелая дубовая дверь, изнутри глухо прошел засов.

Мирка осталась одна. Она опустилась на одно колено подле козы. Разорванная брюшина выглядела так, будто её драл крупный зверь — края рваные, размочаленные. Но в самой туше не осталось ни капли жизнетвора. Сосуды спались, стали сухими и серыми, точно высушенные.

Она осторожно повернула тяжелую голову животного. На белой плоти у загривка темнели два глубоких прокола. Не волчьи клыки, не когти рыси. Края отверстий — ровные, белесые, словно прижженные горячим воском. Расстояние между ними — ровно в два пальца.

Мирка ткнула подушечкой пальца в бескровную плоть во круг укуса. Палец остался сухим. Всю выпили, до капли, пока животины ещё билась в соломе.

Встала, вытерла заскорузлую от сажу руку о подол. Вышла наружу, притянула дверь хлева, вогнала дубовый брус в железные петли и проверила, плотно ли сел. Холод от земли пробивал даже сквозь чесанки, полз вверх по ногам, сжимал затылок.

В сенях Мирка задвинула железные засовы, проверила рамки и ставни. На пороге лежал свежий слой пепла и толченых углей — защита чистых деревень, которая сегодня казалась тонкой паутиной против того, что бродило за частоколом.

В горнице чадил светец. На лавке, съжившись, плакала Виданка. Матушка Умила — бледная, с темнеющими под кожей на шее синеватыми прожилками от болезни — молча гладила младшую дочку по спутанным волосам.

Мирка подошла к печи, подкинула бересты в угли. Руки не слушались, но она сжала их кулаки, пока те не утомонились.

— Отныне до рассвета никто за порог ни ногой, — произнесла она тихо. — Окна занавесить ветошью. А как солнце встанет, я пойду к старейшинам. Расскажу им, что скотины у нас больше нет.

Она не стала говорить про две ровные дыры на шее Пеструшки. Не стала говорить, что так не режет ни один зверь. Внутри у девушки всё заледенело: защита Мглани дала брешь. Багряную заразу больше не удерживали ни дёготь на воротах, ни серебро, ни сушеный полынный угар. Лес подошел слишком близко.

Шла беда.

Крепость Безсмерт

Наст под сапогами не издавал звука — Митро умел скользить по той узкой полосе у плетня, где сбитый ветром снег твердел до плотности кости. За спиной остывала деревня Мглать: пригнувшиеся к земле избы, уткнувшиеся носами в сугробы, редкий нитевидный дым из печных труб, гаснущий в безвёздном выстуженном небе.

Смоляную коровью тушу в хлеву он бросил без сожаления. Не скотина была ему нужна.

Она.

Та, что намедни стояла под замёрзшей сосной, протягивая к шелудивой белке озябшую ладонь с кедровыми орехами. Та, что таскала из ельника валежник и знать не знала, что за её затылком из хвои пристально смотрит сама смерть.

Он мог бы прижать её к срубу. Впитаться в жилу на шее, испытать досуха. Но человеческая кровь для их багряной породы — не просто водопой. Это мост. Глотнув из её горла, он забрал бы не только хмельное тепло — он впустил бы в себя всю её нищую, горчащую жизнь. Забрал бы её хрипящую материнскую обузу, плач малолетней сестрёлки у дырявого корыта, тоску по пропавшему отцу, страх перед холодными ночами, когда в углах трескается бревно. Вся эта людская муть осела бы в нём чёрным илом, выжигая нутро годами. Загадка в ней сошла бы на нет. Смертная девка стала бы по-

нятной, как выскобленная дочиста деревянная миска.

Митро помнил тот единственный глоток из людского горла, сделанный по молодости и глупости. Чужая память тогда вошла в него калёным железом, оплела сердце, и каждый вздох тогда рвал грудь изнутри, пока он выхаживал себя в темнице под замком. С тех пор Митро зарёкся. Проще было давить лесное зверьё — простое, безмысленное, быстро гаснущее.

Но от Мирки пахло иначе. Не страхом. И её сердце стучало в груди ровно, даже когда затылком она чуяла его невидимое присутствие среди лапника. Это тревожило багряного — древний зов, что дремал в нем веками, вдруг зашевелился, раскрыл свои слепые бельма.

Гнездо Безсмертов заново облепило скальный клыкастый гребень. Крепость стягивала вековые ели, глуша звук шагов.

Митро поднимался по осыпи на ощупь. Гранитные плиты, тесанные ещё до Великого Мора древними камнерезами, Уходили в тёмную высь. Лишайник покрыл их заскорузлой коркой, схоронив старые узоры. В узких нишах меж каменных глыб скапливалась замерзшая вода — когда-то там стояли площадки с жиром и жгли огонь, чтобы отпугивать ночных тварей.

Митро остановился у дубовой кованой двери. Провёл ладонью по потемневшей от сырости древесине и толкнул её внутрь.

В зале сквозило стужей. Из освещения — лишь один ча-

дящий лучинник в железном светце у очага. Тень от массивных потолочных балок лежала на полу, поджигая хозяина.

Митро сбросил с плеч отсыревший волкобой, встряхнул его, сбивая налипший иней, и бросил на сук, вбитый в каменную кладку.

— Ну что, промысловик? — выплыл из тёмного угла Томор.

Он подпирал плечом изъеденный точильщиком стол, скрестив руки. Светлые волосы падали на лоб, карие глаза поблескивали хитро и голодно, точно у хорька на подворье.

— Опять под чужими плетнями колобродил? Всё упиваешься духом какой-то смертной девицы из Мглани?

Томор скалился, обнажая клыки — ровные, белые, без единого изъяна.

Митро молча шагнул к дубовому кувшину, зачерпнул ковшом ледяной воды, но к губам не поднёс. Подержал у подбородка, чувствуя, как от воды тянет погребной сыростью.

— Я не колобродил.

— О, ну да, ты у нас теперь хранитель девичьего тела, — Томор сделал шаг вперед, сядясь на лавку и опершись локтями о столешницу. — Вторую седмицу на ветках торчишь над ней, точно сыч. Мать бы тебе башку открутила за такие промыслы. Вбивала же в нас из века в век: девки из деревни — это вынужденная подпитка. Пришёл, взял, если очень приспичило, зарыл кости под кустом. А ты вокруг неё вприпирку пляшешь.

— Она — не добыча, — оскалился Митро.

— А кто она тебе? Невеста? — Томор подался вперед, сузив глаза. — Сколько ей? Семнадцать? В их весях в эти лета девок уже по сеновалам портят да замуж спроваживают. Сколько парней её по кустам за подол щупали, а, братец? Сколько на обжинки в соломе с ней валялись? Зачем тебе такая?

Митро сжал ковш, прикрыв холодные веки.

— Не касался её никто. Она не для того в Мглани растёт, чтобы её мужичье грязное пачкало.

— Ишь ты! — Томор встал, разминая затекшие плечи, и с тихим смешком прошёлся вдоль стены. — А для чего же? Чтобы ты на неё с ёлки смотрел, пока она не сморщится, как печёное яблоко, да не ляжет под крест? Или обратишь ее? Забыл, как прошлые, кого мы пытались спасти кровью, в Веретенских пещерах свои пальцы до костей об камни сгрызали? Забыл, как мать над ними топор заносила, чтобы облегчить участь наших “игрушек”?

— Закрой пасть, — Митро шагнул к брату, наливаясь яростью.

Томор даже не качнулся. Лишь улыбнулся ещё шире, обнажая белые дёсны:

— Припала она тебе к душе, погляжу. Ну ничего. Может, я сам завтра до Мглани наведаюсь? Погляжу, что там за ягодка такая растёт. Может, перехвачу её в лесном овраге, потешусь...

Когти Митро выскочили мгновенно, разорвав кожаные рукавицы. Он сгреб Томора за ворот, прижав к каменной кладке так, что с потолка посыпалась пыль на их плечи.

— Сунешься — живьём кости переломаю.

Томор молча вырвался из хватки, оттолкнув Митро плечом. На его шее остались четыре глубоких белых шрама от когтей брата — кровь не выступила, жилы лишь налились темной синевой. Крови в их телах давно не было.

— Совсем сдурел от своего поста, — пробормотал Томор, отступая к крутой лестнице, ведущей на верхние ярусы к старым арсеналам. — Ступай на мороз, охладись. А то глядеть тошно.

Из нижней подклетной тьмы потянуло запахом пьяного сыченого мёда. На ступеньках показался Вальдемар. Он тащил за собой за локоть рыжую девицу — растрёпанную, в исподней льняной рубаше с распущенной шитой тесьмой. Девка пошатывалась, тёмные глаза её были мутны от заговоренного пойла, а на губах гуляла бессмысленная, пьяная улыбка.

— Эй, супостаты! — хохотнул Вальдемар, вываливаясь в залу. В другой руке у него болтался глиняный глечик, из которого на каменные плиты плескалась тёмная жижа. — Смотрите, какую кралю в Веретети из веселого терема увёл. Младой кличут. Два дня со мной попирует, потом назад отнесу, хозяйка и не спохватится.

Митро смерил пришельца тяжелым взглядом.

— Вальдемар. Зачем опять приволок смертную в гнездо?

— А где мне с ней тешиться? В сугробе? — Вальдемар сгрёб девку за талию, та ткнулась носом ему в грудь, хихикнув. — Ты человечину не пьёшь — твоё дело. А я беру понемногу, без греха. Тут знать надо сам процесс, чтобы не хвататься от них всякого. Ей телесные наслаждения, а мне сытно на весень вперед. Жалко тебе, что ли, братец?

— Убери её, — процедил Митро. — Чтобы до рассвета духу её здесь не было.

— Да иду я, иду, чёрт тебя дери, — Вальдемар потащил девку выше по лестнице. Вскоре оттуда донеслись возня, пьяный женский писк и тяжелый поскрип сруба кровати под весом тел.

Митро остался один. Очаг угасал. Остатки углей покрывались серым пеплом.

Он сел на скамью, упёрся локтями в колени и опустил голову на ладони.

Братья Безсмерт не спали уже столетиями. Спать им было не нужно — время просто текло сквозь них, точно застойная болотная вода в лесу по весне. Но в последние месяцы это течение сломалось.

Всюду была она.

Её заношенный тулупчик. Русая коса, перевязанная лыковой бечевкой. Острые ключицы под грубым льном.

В темноте закрытых век он видел Мирку до мелких подробностей. Как она встает на рассвете, как ступает босыми ногами по доскам в предбаннике, как расстёгивает воротник,

чтобы умыться из шайки. Он представлял её тело — хрупкое, нецелованное, дрожащее от каждого чужого прикосновения. Представлял, как сожмёт её запястья, как прижмёт к лавке в её же сарае, как заглушит её крик ладонью и войдёт в нее — грубо, без спроса, выжигая всё её девичье упрямство.

В паху вставал калёный ком. Ткань портков натянулась, причиняя тупую боль. Митро судорожно выдохнул через нос, сжал кулаки, и замер, выжидая, пока снова отпустит.

Это была пытка. Хуже любого голода.

Он вспомнил их встречу три месяца назад на лесной вырубке. Она тащила на санках сосновый лапник. Рукавицы её заледенели, щеки пылали от мороза. Санки застряли в вывороченном корне, и она, присев на корточки, тихо, по-мужицки ругалась, сбивая наледь палкой.

Митро стоял тогда в двадцати шагах, за стволом старой ели, и боялся вздохнуть лишний раз.

А потом он выучил каждый её шаг. От дома до колодца — ровно сорок два сажня. Лево́й ногой она чуть припадала — в детстве, видать, оступилась. Косу отбрасывала за плечо одним и тем же резким поворотом головы.

И он знал: стоит сделать один глоток её крови — и он станет её невольником на многие века. Её детские страхи, её жалось к больной матери, её девичьи сны — всё это станет его снами. Он превратится в тень, привязанную к её душе, как это было с Вальдемаром сорок лет назад, когда тот выл на луну по сдохшей от хвори деревенской бабе.

Митро сунул руку под рубашку, перехватил давящий ком в паху, поправив его за пояс.

Сверху снова донёлся сдавленный женский стон и победный хохот Вальдемара.

Митро встал. Надобно было выйти во двор, ткнуться лицом в сугроб, проветрить дурную голову. Но он стоял у угасающего очага, слушая скрип половиц на верхнем ярусе и понимал: Томор прав.

Эта одержимость смертной — его гибель. И он шагает в неё с открытыми глазами.

Тень на снегу

МИРКА

Ночь крутила, ломала сон. Снилось мне какая-то чернь, марь, из которой я вырывалась с диким стуком в ушах. К рассвету уже совсем не спалось — лежала, считала паутины под потолком да смотрела, как сквозь слюдяное оконце сочится выстуженный рассвет.

Едва рассеялся мрак, подхватила на ноги. Накинула тулуп, перехватила поясом, повязала платок. Тихо спустилась вниз — матушка металась в горячке, Видана под боком у неё посапывала, сжавшись в комок.

На дворе мороз ударил с новой силой, задрал сугробы. Снег под чесанками не просто хрустел — звенел, точно битое стекло.

Деревня притихла, но притишь эта была дурная, как перед мором. Бабы у колодца жались друг к дружке, шептались, крестили ворота и всё косились на заснеженный частокол, за которым чернел лес. Мужики стояли у тынов, не закуривая, руки в рукавицы прятали, глаза исподлобья — высматривали на насте чужой след.

Прошла мимо деревенских — спиной почуяла их взгляды, но никто не окликнул, не спросил, как мать. Как всегда.

Сень перед домом старосты замело снегом по пояс, еле

протолкнулась под навес. Толкнула дубовую створку. В горнице стоял пар, душно тлел полынный угар. Староста сидел за дубовым столом, тёр пальцами лист сухой бересты, исписанный угольными резами. При моём шаге его рука с берестой дёрнулась, смяла берестяной край.

Рядом теснились трое из его круга: рыжий Гридя с клочковатой бородой, коренастый коваль да долговязый Игнатий — сухой, что жердь, со сморщенной шеей.

— ...нашли под лесиной, как зарю заняло, — приглушённо договаривал рыжий. — Лежит — ни кровинки, кожу выбелило до синевы, а на горле два прокола. Будто шилом расковыряли.

— Какой зверь так берёт? — огрызнулся коваль. — Зверь жилы рвёт, мясо жрёт. А тут туша целая, а сухая, как лыко!

— Не зверь то, — Игнатий мелкой щепотью осенил грудь. — Багряные с Веретенских гор сошли. Народ из соседней деревни сказывал — ночью у плетней тени вились будто. Без следа плыли по насту.

Я шагнула из тени к печи. Половица под ногами издала скрип.

— Батюшка-староста, — голос у меня вышел неразогретым. — У меня в хлеву Пеструшку зарезали. Брюхо вывалили, а внутри — пусто, ни капли жизнетвора. На загровке два укуса. Точь-в-точь как вы сказываете.

Староста медленно поднял голову. Борода его, седая, в крошках табака, дёрнулась.

— До скотины, значит, добрались тоже, — пробурчал он мрачно. — В соседней веси девку нашли прошлой ночью. Из тех, что шкурами на мытнице торговала с бабкой. На снегу ни пятнышка красного, а сама белее известкового камня. Две дыры в жиле. В позапрошлую зиму так же двое сгинули. Думали — шатун, да шатун кости грызёт, а не выпивает до капли.

В избе стало слышно, как трещит лучина у икон. Мужики уставились на меня, будто я эту заразу на веревке привела. У меня аж затылок зажгло. От печки пылало жаром, а из сеней по ногам тянуло ледяным сквозняком, выстуживая чесанки.

— Багряные это, — выдохнул Игнатий. — С тех пор как Рогнеда в бездну канула четыре века назад, тихо было. Крепость багряного семейства на крутояре в лесу обвалилась, думали — сдохли от голода там. Ан нет, вернулись.

Староста поскрёб ногтем столешницу, тяжело вздохнул.

— Вернулись, — согласился он. — Ступай, Мирка. Не вой. Завтра скотиной подсобим тебе, хлев запирай на дубовый брус. Мать с сестрой береги.

Он пожевал губу, уставившись куда-то в тёмный угол под божницей, где пучком висела сушёная полынь.

— И в лес больше ни ногой. На охоту багряные вышли — пока не нажрут на несколько веков вперед, не уйдут к себе в горы. А жрут они девичью кровь. Беречь нам нашу Мглать надо.

Меня аж затрясло, кровь ударила в виски.

— Как это — в лес не ходить?! А валежник кто приволочёт? Чем дом топить? Вам-то в кругу хорошо, у каждого по три мужика во дворе, с осени сараи поленницами забиты! А у меня кто? Мать на лавке задыхается, Видане тринадцать лет! На одном лапнике да хворосте перебиваемся, а овраг уже пустой. Зима до костей выстуживает, ночью вода в кадке насквозь промерзает!

Мужики переглянулись, коваль крикнул и устоялся в подполье.

Я хотела ещё высказать — и про то, как мы лебеду да сосновую мезгу в муку мешаем, чтобы до весны протянуть, — но староста так грохнул кулаком по столу, что все затихли.

— Молчать! — грохнул он. — Развела тут бабий вой! Сказано тебе — не смей за частокол соваться, значит, сиди в избе! А за дрова не вой. Будет тебе помощник. Наколет, приволочёт завтра.

Я опешила, аж слова во рту попутались.

— Какой ещё помощник? Кто?

Староста усмехнулся в усы, глаза его стали мелкими, колючими. Махнул широкой ладонью — прочь, мол.

— Завтра узнаешь. Ступай, Мирка, не мозоль глаза.

Я посторонилась, глядя, как он снова углубился в угольные резы на бересте, и видя, что слушать меня больше никто не собирается, захлопнула за собой дверь в сени.

Стужа за порогом стояла мёртвая. Схватила за горло, едва я сунулась из сеней, выжала из легких сухой кашель. В ушах

всё скребся голос старосты: «Багряные проснулись». Бабка моя покойная, бывало, пугала нас стынь-кровью — теми, кто не старится и следов на насте не оставляет. В детстве я отмывалась от её печных баек. А теперь эти байки обгладывали наш скот.

Зима глодала Мглань. Снега навалило под самые стрехи, до рынка в центре деревни приходилось рыть траншеи. Я волокла на продажу сушеный зверобой, чабрец, скукоженные коренья, что успела набрать по осени. Жалкие медяки уходили на осьмушку хлеба и пару поленьев. Пальцы от стужи ныли, приходилось мотать их разной ветошью, чтоб не ооченели совсем.

А в доме таяла мать. Хворь жрала её медленно, тянула соки. Кашель стал сухой, она уж не поднималась, только хрипела в бреду, отца кликала. Видана, сестрица, от каждого скрипа половицы шарахалась в угол к печи теперь, глаза — как у загнанного зайца. Жутко ей было после того, что с Пеструшкой стало. Нам всем было жутко.

Как темнело, я закидывала дверной брус, подпирала ставни. Мы жались к печке и слушали, как в трубе надрывается ветер. И чудилось — не ветер то, а скулеж голодный. Я спиной чуяла чужой взгляд изо дня в день. Выйду за ворота — затылок печет. Обернусь — стылый лес да белая пустошь. Никого.

Вечером пошла доить новую козу, что староста дал на время. Присела у бадьи, прижалась щекой к теплой шерсти.

Пальцы деревянные, еле гнутся, молоко о жечь звонко бьет.

Сквозь щель в стене хлева тянуло синевой сумерек. Я приоткрылась в ее черноту, пока пальцы замерзшие разминала.

И тут вдруг, у сруба, выросла тень.

Чёрная, длинная, она не отбрасывалась ни от чего, что было рядом, — она стояла сама по себе. Скользнула к хлеву, поплыла над настом. Снег под ней даже не пискнул. Ни хруста, ни следа. Ничего.

Багряный!

Крынка вывалилась из моих рук. Лопатки впечатались в промерзший косяк. В груди всё смерзлось — ни крикнуть, ни вздохнуть.

Нежить. Мне конец пришел.

Тень замерла у самого входа. Пар от моего дыхания оседал на губах колючим инеем. Белое молоко разливалось по соломе.

Я зажмурилась. Язык сам заворочался, нашептывая бабкины слова:

— Матушка Мокошь, укрой своей пряжей... Отведи бельма нечистому, спрячь от зуба багряного, от когтя рваного...

Схватила пальцами пролитое молоко, плеснула перед собой, потом по бокам — секла круг защитный.

— Хранители дворовые, укройте. Меня не отдайте.

Молоко впитывалось в сухую траву. Дверь хлева тихо скрипнула. Я зажмурилась так, что в глазах все почернело

пятнами, вжалась в доски до упора.

И тут над всей Мгланью взревел дозорный рог. Бухнули колотушки в бубны. Вся деревня будто содрогнулась от звука.

Тень у порога дёрнулась, смазалась и распалась лохмотьями мрака. Растаяла в ночи.

Я сползла по стене, не чуя ног. На улице уже вскипал гомон деревенских: собачий брех, скрип полозьев по снегу, крики. Насилу оторвала себя от досок, высунулась за дверь спустя какое-то время. Глотнула свежего воздуха — и тут же из-за угла метнулась какая-то фигура. Я закричала от страха, но меня сгребли в охапку. Чужие руки рванули на себя, в щеку впились обветренные губы.

Я дернулась, собираясь брыкаться, но ухо обожгло звонким смехом.

— Мирка! Это я!

Идан.

Возвращение охотника

Ноги подкосились. Осела бы в сугроб, если б Идан не держал. Вцепилась побелевшими пальцами в овчину его тулупа. А он целовал меня — жадно, сбивчиво, тыкался ледяным носом, горячим ртом в скулы, в веки.

Страх, что только что грыз сердце, отпустил. Я задохнулась то ли всхлипом, то ли нервным смехом. Оттолкнула его чуток, чтоб в лицо любимого взглядеться.

Тот же. Родные карие глаза с лукавым прищуром, вихры русые из-под малахая лезут, губы морозом изранены.

Провела ладонью по его щеке, колючей от инея.

— Ты ж божишься, что до весны на промысле пробудете? Стряслось чего?

Он дышал тяжело, как загнанный конь, зубы оскалил довольно.

— Думали до весны, ага. Зверь нынче пуганый, за луну столько не возьмешь, сколько круг старейшин в налог требуют. А тут... — Он понизил голос, глаза заблестели лихорадочно. — Безумие какое-то. За одну зорьку набили, волокуши насадили! Мясо, шкуры — под завязку, Мирка! Зверь сам в рогатины пёр, ошалелый. Представляешь!

Идан стер снег с бровей, оглядываясь на шум у ворот.

— Стадо целое из оврагов ломанулось. Кто-то их с лежищ поднял. Спугнул так, что они кишки рвали, лишь бы

уйти. Хозяин лесной, али другая какая погань. Но пока они от страха слепли, мы своё с них сняли. Старшие отмашку дали — домой!

Идан притиснул меня к себе, шепнул в самое ухо, обдавая жарким дыханием:

— С добром мы, Мирка. Не подохнет Мглань наша с голодухи. Да и я... я к тебе гнал. Ждала?

Глаза горячо защипало. Слезы полились по щекам, и тут же примерзли к коже. Идан стер их большим пальцем.

— Не реви. Я туточки. Сдуюм вместе теперь.

Он сгреб мою ладонь в свою и потянул к воротам. А над Мгланью грохотали бубны, вспыхивали смоляные факелы. Во дворы втягивались груженные сани, мужики в подбитых железом тулупах орали, бабы радостно голосили. Жизнь, шумная и веселая, возвращалась в замерзшую деревню.

Мглань гудела всю ночь, словно улей. Охотники вернулись до заката, притащив на санях столько мясной тяжести, что хватило бы до самой весны, и теперь деревня захлебывалась сытным, жирным угаром. На широком дворе старосты, где мужики топорами пластали мерзлую дичь, снег давно обратился в кровавую слякоть пополам с золой. У печей бабы до одури калили камни, багровые искры летели в низкое небо, а тяглый дух жареного сала и духмяного хмельного сбитня мешался с морозной стынью.

Я носилась с самого рассвета: таскала горячие лепешки, сдувала золу с подола, черпала варево. Спину ломило, ладо-

ни горели от печного жара, но эта дурная круговерть гнала прочь мысли о багряных и их угожьях в горах, о нежити, что таилась за частоколом.

В стылых сенях, едва я сунулась туда за новым караваем, чьи-то пальцы сомкнулись на моих запястьях. Рывок — и я впечаталась в жесткое плечо.

— Идан, бес тебя дери, пусти! Смотрят же на нас! — зашипела я, дернувшись, но он лишь крепче стиснул меня, вдыхая запах моих волос так жадно, будто век не дышал.

Его губы скривились в шалой, хмельной ухмылке, а в глазах плескался лихорадочный блеск.

— А и пусть пелятся, — выдохнул он, обжигая мне ухо. — Я там, в лесной чащобе, только тобой и спасался, Мирка. Вокруг хтонь, воеет кто-то за деревьями, а я лежу у костра — и перед глазами ты. Руку под порты суну, глаза закрою... и будто ты рядом. Будто дозволяешь...

Я пихнула его локтем под ребра, чувствуя, как лицо полыхает крапивным жаром.

— Ополоумел совсем! В пустошах разум оставил? Как можно вслух такое сказать!

— А чего таить? — он издевательски вскинул брови. — Я ж о светлом. Как мы вдвоем у печи, и ты смотришь на меня так, что нутро сводит от желания прикоснуться...

— Идан! — я вырвалась, подхватив тяжелый подол, и бросилась вон из сеней.

Он настиг меня за углом, у сарая. Сгреб поперек живота,

вжал лопатками в заледенелые бревна.

— Попалась, лисичка!

Одна его рука намертво впилась мне в поясницу, а вторая уже рванула вверх край суконной юбки. Его пальцы скользнули по моему голому бедру, а сам он навалился всем весом, вдавливаясь в меня пахом. Твердый. Горячий, как раскаленный прут, даже через сукно портов.

— Идан... уймись! Увидят же нас! — я вцепилась ему в плечи, пытаюсь оттолкнуть.

— Дай хоть надышаться тобой, — его губы судорожно смяли мою щеку, заскользили к шее. — В веселые терема наши шастали во время промысла, дурни, напряжение так сбрасывали. Своих жен предавали. А мне тошно от чужих баб. Запрусь в заимке и зубы скалю. Только тебя ждал. Живую. Теплую. А тут ты — а тронуть нельзя при всех. Рехнуться же можно.

Я отвернулась, стиснув губы, чтобы не выдать, как тело само отзывается на эту грубую ласку, как плавится нутро от его слов.

— Не венчаны мы ещё, Идан. Срам будет на всю Мглань, если узнают...

— А мы скоро под венец, — он хрипло хохотнул, вжимаясь в меня бедрами. — Дозволь, душенька. Раздеваться не станем. Дозволь, я напряжение сброшу, тебя не трону грехом...

Стыд перемешался с жаром в животе. Внизу закрутило

сладкой судорогой. Я вцепилась онемевшими пальцами в его волосы, задыхаясь от его толчков, от звука его сбитого дыхания у меня над ухом.

— Идан... хватит...

— Скажи, что противен, и отпущу, — он толкнулся резче, вырвав из моего горла сдавленный стон.

— Не противен, — едва слышно выдохнула я. — Но застанут — в дегте вымажут. Пусти.

— Да бес с ними со всеми, — забормотал он, прикусывая мочку моего уха, наваливаясь тяжелее. — Дай до конца дойти, Мирка. Не сдержусь больше.

Он задвигался быстрее, остервенело втираясь в меня через юбки, вжавшись лбом мне в плечо. Зарычал сквозь стиснутые зубы, всем телом подался вперед, содрогнулся раз, другой... и тяжело обмяк, цепляясь за мои плечи.

Тяжело дыша, Идан отстранился. В глазах плясала шальная виноватость. Я сползла бы по стене, если бы не его руки.

— Хороша невинница после таких встреч, — процедила я, одергивая подол в смущении.

— Так женой ведь моей будешь скоро, решенное дело, — Идан стер испарину со лба, мазнул большим пальцем по моей скуле. — С мужем-то можно без притворства.

— На глаза мне сегодня не лезь, — отрезала я, хоть губы сами дрогнули в улыбке. — Увидят нас вместе — ославят.

— Буду тише воды теперь, — ослабил он.

Пропаду я с ним. Как есть пропаду.

К ночи гульба набирала обороты. За длинными тесаными столами сивуха лилась рекой, перекрывая дух жареного мяса. Идан вывел мою матушку на крыльцо, усадил на лавку, заботливо кутая ей ноги овчинным тулупом. Умила — бледная, иссохшая от своей медленной хвори, с блестящими глазами — кивнула ему. Но стоило парню отойти к мужикам, как ее палец поманил меня к себе.

— Мирка, слушай сюда, — начала она, едва я присела рядом. — Парень Идан лихой, спору нет. Да только кобелье нутро свое возьмет когда-нибудь. Не давай ему воли раньше венчания. Облапает, распробует — и кинет в сугроб. Видала, скольких так испортили уже? Не будь у меня дурной овцой, Мирка. Хорошо?

Ее слова резанули по живому. Задели крепко.

— Это ты про себя, матушка? — выплюнула я, вырывая руку. — Тятка мой тебя тоже сперва облапал, да под венец сводил. Сильно помогло? Все одно сбежал к чужой бабе, едва ты хворать начала. Не тебе меня учить, кого под юбку пускать.

Лицо Умилы пошло серыми пятнами, бескровные губы задрожали.

— Ополоумела совсем? Я ж от беды уберечь хочу...

— Обойдусь, — в сердцах бросила я, поднимаясь с лавки.

Я убегала, не оглядываясь, хотя спину колот ее сдавленный, надсадный кашель.

Грудь стянуло. Я нырнула в темень за хлев, прижалась ще-

кой к промороженным доскам, прячась от отсветов костров. Гнев сходил на нет. Появилась горечь на языке от сказанных злых слов.

И тут...

Стынь поползла по хребту.

Чужой взгляд. Он снова был здесь, буравил мой затылок из темноты, тянул жилы.

Я резко обернулась. Никого. Сумеречный снег вокруг да черная щель между венцами хлева. Но нутро чуяло: там, в хтони за частоколом, кто-то есть. Некто, кто не дышал, но жадно, неотрывно пил мой страх.

Я судорожно втянула воздух ноздрями, попятившись, когда сзади грохнул наст.

— Мирка!

Я отшатнулась, зажав ладонью рот.

Это был Идан. Брови сведены, лицо хмурое.

— Чего в темень забила? — он в два шага преодолел сугробы, сгрёб меня в охапку. — Чего мать напела? Увидел, как ты убегаешь после вашего разговора.

— Пустое это, — я спрятала лицо у него на груди, жадно вдыхая терпкий запах дыма. — Белены объелась, мелет вздор всякий.

Идан молча зарылся пальцами в мои волосы, прижимая к себе. Крепкий. Горячий. Родной. Разве такой бросит? Тот взгляд из темноты — просто морок, дурная игра теней. Идан со мной. Он всегда защитит.

— Все сладится, — выдохнул он мне в макушку. — Не переживай. Мать тебе только добра желает.

Я кивнула, отстраняясь и беря его за ладонь.

— Пошли к людям. Хватятся скоро.

Ночь при свечах

Идан довёл меня до крыльца, и мы остановились в сенях. Он поправил ворот моего тулупа, заглянул мне в лицо.

— Мирка, ты это... пойди помирись с матерью. Негоже вам с ней в ссоре быть. Она старая, хворая, а ты у неё одна опора.

Я надулась, но понимала, что он дело говорит.

— Она сама начала, — буркнула я, глядя в сторону.

— А ты первая уймись, — он усмехнулся, притянул меня и чмокнул в щёку. — Иди, мирись.

Я вздохнула, толкнула дверь и шагнула в горницу. Мать сидела за столом, перебирала в пальцах сухие травы, плечи были опущены. Она подняла глаза — в них стояла та же обида, что и у меня, только глубже, выцветшая от долгого молчания.

Я села рядом, взяла её руку.

— Прости, матушка, — прошептала я в стол. — Я погорячилась. Не надо было мне так.

Она помолчала, потом выдохнула и сжала мои пальцы:

— И ты прости. Я тебе не враг. Я за тебя боюсь.

— Знаю.

Мы посидели так, не разжимая рук. На душе становилось светлее.

— Поговори с сестрой, — попросила матушка, отпуская

меня. — Опять упирается, не хочет в избу грамотную ходить. А надо, Мирка. Девка она красивая, а без ума — что без рук.

Я кивнула, поднялась и полезла наверх, к Видане.

Она сидела на лежанке, обхватив колени, и глядела в стену. Когда я вошла к ней в горницу, она встрепелась вся, будто ждала меня.

— Мирка! А я думала, ты уже не придёшь сегодня!

— А куда я денусь? — я села рядом. — Матушка сказала, ты в избу грамотную не хочешь. Почему?

Она нахмурилась, покосилась на меня:

— Скучно там. Бабы эти носы задирают, грамотные, важные. А я в чём? В заплатках, босая... стыдно.

— Зато грамоте научишься, — я погладила её по голове.

— И дом помогать вести будешь. Не всё же мне одной на рынке торговать.

Она помолчала, покусывая губу, потом как-то хитро уставилась на меня:

— Ладно. Пойду туда. Но у меня условие!

— Да? Интересно какое.

— Ты скажи: что вы с Иданом делаете на сеновале, когда никто не видит?

Я поперхнулась, отпрянула:

— Чего?!

— Ну расскажи, Мирка! — она пододвинулась ближе, глаза загорелись. — Ты красная вся была сегодня в обед, значит, было что-то. Колись, сестренка! Интересно же жуть как!

Я замахала руками:

— Типун тебе на язык! Ничего мы такого не делали! Целуемся только!

— И всё? — она недоверчиво прищурилась.

— Всё, — я отвернулась, чувствуя, как горят уши. — Тебе рано ещё про такое знать. Не до пьяных глаз, как говорится.

Виданка хихикнула, но, благо, отстала. Мы ещё посидели, поболтали, посмеялись над старой хрычовкой, что живёт через дорогу и ругается с соседскими петухами на рассвете.

Потом я спустилась и заварила нам чаю — мята с липой, последний мёд со дна горшка. Мы пили его втроем, маленькими глотками, заедая сушёными яблоками, и тепло разливалось по животу от уюта вечера.

Матушка рассказывала, что узнала за общим пиром сегодня: у кого просватали дочь, кто кого обидел на посиделках. Видана хихикала, я слушала, и на душе становилось тихо, тепло.

Потом мы разошлись. Я поднялась к себе, скинула платок, стянула сорочку и надела ночную рубаху. Села на лежанку, начала расплетать косу, как вдруг услышала стук.

Тихий, робкий — не в дверь, а в оконную раму.

Я окаменела вся. Сердце подскочило в груди. Я хотела было уже бежать к матери, но стук повторился, и я узнала его: два коротких, один длинный. Детская наша условность.

Я подскочила к ставням, отодвинула занавеску. За стеклом в темноте стоял на снежной куче Идан, прижимая палец

к губам, и кивал на засов.

Я отворила окно, впуская морозный пар.

— Ты что? — прошептала я с улыбкой. — Спать же надо было.

— Да не спится мне, — он тоже шёпотом, глаза блестят. — Староста сказал: завтра на рыбную ловлю уезжаем. Недель на две, может, на три. Рыба пошла, упускать нельзя.

У меня внутри вскипело от негодования, брови сдвинулись.

— Опять??

— Мирка, — он протянул руку, коснулся моего запястья. — Я две недели без тебя не выдержу. Пойдём на сеновал. Полежим, поговорим. Не трону тебя, слово даю. Просто рядом побудим, погреем друг друга.

Я хотела сказать «нет», но язык не повернулся от вида его умоляющих глаз. В груди стало тесно и горячо. Хотелось его тепла. Хотелось быть рядом. Жуть как хотелось.

— Знаю я, что тебе надо, — выдохнула я.

— Ты мне нужна. Не тело твоё, Мирка. Ты. Две недели без тебя — с ума сойду. Не жалеешь меня совсем?

Я посмотрела на дверь, где спала матушка, потом на него. Кивнула.

Он помог мне вылезти наружу — снег обжёг босые ноги, я зашипела, но он подхватил меня на руки и понёс к хлеву, прижимая к груди. Сено захрустело под его сапогами, когда он опустил меня на него.

Мы лежали на его тулупе, глядя в потолок, где висели связки сухих трав — полынь, зверобой, малина. Я спросила Идана про родню: как они, что делают. Он рассказывал, а я слушала, гладила его руку.

— Ты боялся? — спросила я.

— Когда отец умер? — он задумался. — Боялся, конечно. А теперь нет. Страх — интересное ощущение. Но и оно проходит, когда внимание на другое перемещаешь.

Идан зажёл свечку, поставил на перевёрнутое ведро. Пламя качнулось, заколыхались тени на соломе.

Я тоже скинула тулуп, и мы остались в одних рубашках. Сено кололось сквозь ткань, но я не сильно думала об этом. Мое внимание было только на любимом.

Я хотела встать, чтобы переложить солому под голову, но подол моей рубашки зацепился за сучок в балке. Ткань натянулась, затрещала — я услышала, как она рвётся на бедре, обнажая кожу до самой талии. Рубашка натянулась на груди, и ткань очертила мои упругие формы.

Я замерла. Забоялась.

Идан тоже замер.

Я видела, как его взгляд упал на мою оголенную ногу, на разорванную ткань, на то, что открылось взгляду. Он лежал на сене, и я видела, как под его портками натянулась ткань — туго, упрямо.

Я сглотнула, пальцы пугливо метнулись, я попыталась отцепить ткань от гвоздя, но он уже поднялся.

Идан шагнул ко мне и подхватил на руки, опуская на солону, прижимая спиной к своей груди.

Я чувствовала его дыхание на шее — горячее, сбивчивое. Его руки легли мне на живот, потом скользнули выше, к рёбрам.

— Скажем всем завтра, что венчаемся, — прошептал он мне в ухо. — Да?

— Да, — выдохнула я.

— Завтра пойду просить твоей руки у матери, — он говорил, покрывая мою шею поцелуями, спускаясь к плечу. — При всех объявлю, что люблю тебя.

— Идан...

Я запрокинула голову, позволяя ему.

— Можно я... — он замялся, сжимая мои плечи. — Можно мне грудь попробовать?

Я прервала вздох. Лицо вспыхнуло.

— Мою?... Как? Я не знаю...

— Моргни, если можно, — прошептал он.

Я смущенно моргнула.

Он развязал узел на моей сорочке, ткань легко соскользнула, открывая грудь взору. Холодный воздух коснулся кожи, и тут же его губы накрыли мою кожу — горячие, влажные.

Я застонала, выгибаясь в спине. Язык его обводил мою горошину, он покусывал, прижимал к себе, и я вцепилась ему в плечи от мучительного удовольствия.

— Я могу сделать тебе приятно, — он оторвался, мягко улыбаясь. — Ниже. Там. Если разрешишь.

Я кивнула, не в силах говорить.

Он опустил руку к моему животу, ладонь скользнула ниже.

— Будь нежным, Идан... Прошу.

Он мягко поцеловал меня в лоб, потом в губы. Я чувствовала его пальцы, как они касаются меня там, внизу.

Это было невероятно. Будто во сне.

Идан неожиданно протиснул палец внутрь меня. Я распахнула глаза, в ужасе глядя на него.

— Ты что делаешь?!

— Не бойся, — зашептал он. — Я не сделаю тебе больно. Если не захочешь — остановлюсь. Как ощущения?

— Я не знаю, — выдохнула я. — Это всё неправильно...

— Почему неправильно, если тебе так приятно? Не бойся, я остановлюсь. Но сначала...

Он начал надавливать там, не переставая целовать мои губы. Я чувствовала его палец внутри, поглаживающий, скользящий, и я уже не могла говорить связно. Только извивалась под ним, дрожала, и что-то тянуло внизу живота, такое тёплое и незнакомое.

— Это неправильно, — шептала я. — Совсем неправильно...

— А так хорошо? — спросил он, и я почувствовала, как он надавил на самую натянутую точку внутри.

Я вскрикнула, выгнулась дугой, и всё внутри сжалось и расслабилось одновременно. Я содрогнулась, прижимаясь к нему, и не понимала, что со мной.

— Ещё? — спросил он, облизав губы.

— Н-нет, — еле выдавила я. — Хватит. Я больше не смогу выдержать.

— Хорошо, — он осторожно вынул палец и поцеловал меня в плечо.

Он обнял меня, прижал к себе. Я услышала, как он тяжело дышит, как его друг напряжён и прижат к моему бедру, но он не продолжал.

— Прости меня, — вдруг выдохнул Идан. — Я не хотел так далеко заходить. Я просто люблю тебя.

— И я... люблю тебя.

Свеча догорела. Мы лежали в темноте. Я слышала его дыхание, наслаждалась теплом его тела. Через время он помог мне надеть рубаху. Я расправила подол, завязала узел на груди.

— Проводишь меня?

— Спрашиваешь! Конечно, — он встал и протянул руку. — Одну на ночную улицу я никогда тебя не пущу.

Обратно я шла молча. У окна он помог мне перелезть.

— До завтра, красавица, — прошептал Идан, целуя мою руку.

— До завтра.

Я закрыла окно, задвинула засов, но в ту ночь мне так и

не уснулось. Всё прокручивала в голове: как он смотрел на меня, как дышал тяжело, когда ткань порвалась.

Я прикоснулась пальцами к бедру, где была дыра в рубахе. Хорошо мне было с ним, так хорошо, что стыдно. И страшно. Потому что правильно ли это — так хотеть, так таять, так позволять ему трогать себя до венчания...

Не знаю. Может, я с ума схожу. Но внутри всё горело после этой встречи, и я не могла прогнать это чувство. Переворачивалась в жаркой неге, скидывала одеяло, прислушивалась к ветру, который выл за окном. И в этом вое мне слышалось его частое дыхание.

На дне озера

МИТРО

Тяжесть в ногах была не от усталости — от сытости. Чужая кровь всё ещё вязала язык сладостным налетом. Человечья. Горячая. Дурная. От неё нутро багряного сводило судорогой — то ли выть хотелось в серое небо, то ли скалиться.

В городище в таком виде соваться нельзя. Братья почуют сладкий дух за версту. Слетятся, как стервятники, вывернут наизнанку: чья жила, где туша, с каких пор праведник Митро, брезговавший двуногими, сорвался?

Лес расступился, выплюнув его к мёртвому озеру. Вода стояла под толстым панцирем льда. Митро рухнул на колени у самых камышей. Ударил кулаком раз, другой. Лёд нехотя поддался, пошёл змеиными трещинами, но сдержал. Тогда Митро скинул шубу, оставшись в одной исподней, и принялся молотить по насту обеими руками, сбивая костяшки, пока не проломил широкую полынью.

Ледяная чернота наконец сомкнулась над его головой, обожгла, отрезвила. Митро медленно пошёл на дно. Лёг спиной на ил, таращась сквозь толщу кристальной воды на бельмо небес. Дышать багряным было без надобности. Он лежал, позволяя озеру вымывать с кожи чужую жизнь, но та, что уже впиталась внутрь, жгла каленым железом. Её было уже

не вымыть из него.

Вместе с кровью охотника в него влилась и его память.

Теперь он знал Мирку так, как знал её тот мертвец. Помнил сладкий запах её волос, податливость губ, тепло дыхания, бьющего в ключицу. Тот парнишка, Идан, смотрел в стылое небо пустыми глазами, когда Митро припал к его разорванной шее. Всего один жадный глоток — и чужая похоть, чужая нежность стали его собственными. Он не знал, насколько сильны чувства того охотника к ней. Недооценил его. Это разрывало череп.

Надо переждать. Месяц, другой. Пусть кровь перебродит, выветрится, пусть она в своей Мглани отвоеет скорбь по суженому. По весне он выйдет к частоколу. Чужаком. Путником, что встретится ей.

Митро оттолкнулся от дна. Вынырнул, хватая ртом морозный воздух, зацепился за ледяную кромку. Сквозь снежную крупу на берегу мерещился тонкий силуэт. Разметанные русые косы, опущенные плечи.

— Мирка... — сорвалось с его губ.

Силуэт шагнул ближе. Наваждение спало.

У полыньи стоял Томор.

Брат играючи ухватил его за шкурку и рывком выволок на наст. Навалился коленом на грудь, вжимая в крошево льда, хищно повёл носом. Клыки блеснули в полумраке.

— Я из самой крепости почуял. Смердит от тебя, братец,
— Томор брезгливо скривился. — Человечинкой. Хоть ты и

полоскался тут, как дворовая баба с бельём, а дух остался. Как объяснишь?

Митро лежал молча. Вода ручьями сбегала с волос. Он совершенно не двигался. Не моргал даже.

— Ну? — Томор тряхнул его. — Кто? С каких пор ты, постник недорезанный, жрешь людей? Мы тут, значит, из себя выших строим, клянемся завет Рогнеды блюсти, а ты втихую чистого задрал? Ну ты и...

— Я не убивал, — выдавил Митро.

— Да ну? — светлые глаза Томора сузились, полыхнули золотом. Он нагнулся совсем близко. — Мглань. Запах тех мест, где жгут полынь и дёготь. Ты вылакал кого-то из деревенских.

Митро попытался отвести взгляд, но брат вцепился ему в подбородок, чуть не выворачивая челюсть.

— Говори. Молчать буду, если мне скажешь.

— Охотник.

— Парнишка, значит, — протянул Томор, слизывая с губ падающие снежинки. — Гормон играет. Чую. Молодой? Наткнулся на него в лесу и не сдержал клыков, святоша?

— Он был уже мёртв. Волчья стая разодрала. Я только... попробовал.

Томор расхохотался. Отпустил брата, выпрямился и зашагал по льду, заложив руки за спину.

— Попробовал! Остывающее мясо! Ты либо вконец спятил, братец, либо... — он резко остановился. Улыбка сползла

с его благородного лица. — Либо девица. Та, из Мглани. За которой ты тенью таскаешься по лесам. Ты... Нет, не может быть. Митро, правда?! Ты, что вылакал её мужика?

Митро сжал челюсти. Быстрая догадка брата его несказанно взбесила. На морозе рубаха начала вставать колом.

— ...Да ты хотел узнать её через его думы, — задумчиво произнес Томор, закусив губу. В нём проскользнуло отвращение пополам с извращенным восхищением. — Выпил его память. Решил влезть в чужую постель через мёртвые мозги? Боги, Митро... Какая гниль.

— Заткнись, — Митро рывком поднялся на ноги. — Ты не угадал.

— Ой ли? — Томор издевательски прижал руки к груди. — А ты уже обглодал воспоминания о том, как она под этим самым охотником на сеновале стонала? Было такое или что-то погорячее? Ду уж, братец... Породисто с твоей стороны, ничего не скажешь. Триста лет корчил из себя старца-затворника, а теперь сохнешь по куску тёплого мяса.

— Она не мясо! — рык вырвался из горла, ударившись о скалы. — Он не стоил её! Думал только, как бы ей под подол залезть. А я... я подожду, чтобы узнать её.

— Чего узнать? Когда она тебе венок сплетёт? — Томор подошёл вплотную, удивленно наблюдая за братом. — Ты трус, братец. Боишься её. Боишься, что дотронешься — и она обморозится о твою мёртвую шкуру. Поэтому откладываешь встречу.

— Я дам ей время. Я не беру силой.

— Зато я беру.

Слова вылетели сами собой. Томор склонил голову набок, понимая, что Митро это совсем не понравится.

— ...Что ты сказал?

— Просто любопытно. Раз уж ты ради этой девицы пошёл на такое паскудство... надо бы навестить Мглань. Посмотреть, что там за сокровище прячут за частоколом. Знаешь, я ведь не стану в кустах сидеть, как ты. Я подойду к ней, Митро. Улыбнусь. Скажу то, что девицы любят слушать. И она сама за мной в багряные земли шагнёт.

Митро бросился на него, взметнув шквал снега, но когти распороли лишь пустоту. Томор был быстрее. Силуэт среднего брата уже растворялся в метели.

Только ветер донёс издевательский смех:

— Жди дальше, святоша! А я пойду познакомлюсь!

Митро остался стоять по колено в сугробе. Ледяной панцирь окончательно сковал одежду. А в голове, перекрывая вой вьюги, всё звучал чужой, украденный голос: «Две недели без тебя не выдержу, душа моя».

Чужая память разрасталась внутри, пуская гнилые корни. Митро подобрал брошенную шубу.

Нужно было возвращаться. И нужно было успеть к ней раньше, чем это сделает брат.

Затишье перед тьмой

МИРКА

Третья седмица пошла, как Идан уехал за уловом.

Снег валил беспрерывно, запечатывая тропы. Выходя поутру на крыльцо, я до боли в глазах вглядывалась в хмарь, туда, где лес перетекал в багряные земли. Если б артель охотников возвращалась с промысла, заимка бы уже гудела, цепные псы зашлись бы лаем. Но Мглань укуталась в сонную тишь.

Пахло жжёным вереском, а дёгтем староста приказал щедро мазать пороги. Береглись, но уже не так боялись наступления багряных. Деревенские перестали вздрагивать от каждого скрипа. Про девку из веселого терема, которую по осени нашли у частокола сухой, как выжатая тряпка, бабы уже не судачили. Списали на рысь или волка-шатуна. Всем так проще: зверя можно на рогатину поднять. Зверь — это понятно. А вот иные... То другое.

А я помалкивала про свою козу. Только староста и его круг знали. Мне запретили болтать другим, чтоб панику не наводить. Мол, только в соседних весях такое, не у нас. Но по ночам бескровная туша стояла у меня перед глазами, и живот крутило от жути. Никакой волк не цедит добычу так чисто.

Я ждала Идана. Каждый день думала о нем. Раньше охотники оборачивались за десять ночей, ну, от силы за две седмицы. А теперь пошла пятнадцатая уже.

Дурные мысли я гнала от себя работой: стирала в ледяной воде, скребла полы, варила похлебку. Но вечерами медяки на ладони — жалкая горстка, отложенная ещё с осени — оставляли на пальцах осадок нищеты. На полпуда муки и крупу хватит, а до весны ещё снег топтать и топтать.

Матушка кашляла все сильнее. Отвары из чабреца и медвежьего ушка уже не брали хворь, что в ней сидела. Ей нужно было мясо. Парное молоко. Сыворотка, за которую старейшины драли в три шкуры.

Выбора не оставалось. Поутру, запахнув отцовский тулуп, я пошла к Данко.

Его изба-читальня стояла в самом сердце Мглани, прокопчённая, с темными ставнями. Колоколец над дверью звонко брякнул. Данко пыхтел за конторкой — кряжистый, вечно в книжной пыли, с всклокоченной рыжей бородой.

— Здорова будь, Мирка, — он отложил берестяной свиток, мазнув по моему лицу цепким взглядом. — Как Умила?

— Хворает, — я сжала окоченевшие пальцы в кулаки. — За делом я, Данко. Возьми меня в подмогу себе. За хлеб и молоко работать стану. Полки мыть, книги таскать.

Он удивленно закричал, почёсывая затылок.

— Барышей-то с читальни кот наплакал. Кому сейчас сказы нужны, когда багряные за частоколом бродят? Но... лад-

но. Приходи завтра до рассвета. Руки лишние здесь не помешают.

На следующий день я пришла еще затемно. Данко сунул мне грубый льняной фартук и повёл меж высоких, заваленных хламом полок.

— Свитки руками не лапай, пыль смахивай сухой тряпичей, — наставлял он. — Тут травники, там летописи.

— А где про нежить есть? — брякнула я. Сама не поняла, как с языка сорвалось. Коза наша перед глазами сразу встала.

Данко зыркнул на меня колюче, исподлобья.

— На кой тебе про нежить? В дальнем углу, под замком. И не суйся туда, Мирка, целее будешь.

Оставил меня одну. Принялась за работу, давясь пылью. Но за труд этот мне оплатят — я и не жаловалась.

Когда потянулась за тяжёлым томом в кожаном переплёте, тот выскользнул, рухнув на половицы. Я наклонилась — и замерла.

По проходу кто-то шёл. Не Данко. Тот топал, как подкованный мерин, а эти шаги были мягкими, неслышными. Словно сама тень от полок оторвалась.

Я подняла голову, насторожившись.

В дверях стоял парень, какого у нас в деревне точно не встретишь. Чужой сразу видно — наши такими не рождаются. И красивый, до жути красивый. Высоченный, в дорогом кафтане, обшитом чёрным соболем. Волосы совсем светлые, аж отливают сединой на холоду, а кожа чистая-чистая, будто

ненастоящая вовсе, как на костяных фигурках. Скулы острые, губы лукаво кривятся, будто он знает про меня что-то. Но я в глаза ему уставилась. И это было страшно. Серая, мутная наледь в них, как на реке в заморозки. Он замер и тоже смотрел прямо на меня, молчал. От этого взгляда у меня аж под ложечкой засосало. Мы оба ни слова не говорили, и эта тишина так давила, что я внутри просто взмолилась: хоть бы Данко поскорее зашёл в лавку и сам с ним разбирался уже!

Чужак плавно наклонился и поднял книгу. Его пальцы — белые, чистые, без единой мозоли — мазнули по обложке. Он протянул её мне, но из рук не выпустил. Придержал, заставляя меня снова уставиться на его неживое лицо.

— Благодарствую, — выдавила я и потянула книгу на себя.

— Ищу труды по нежити, — холодно сообщил он. Голос у него оказался тихим и приятным, но образ его от этого дружелюбным не стал.

— В углу они. Под замком. Данко скоро придёт — отопрет. — Я сделала шаг назад, подальше от него.

— Твой хозяин сейчас занят. А я ждать не люблю.

Он развернулся и пошёл вдоль полки. Я перевела дух, схватилась за тряпку, но спокойно работать уже не могла. Взгляд чужака лип к лопаткам, как мокрая рубаха. Он не искал книги. Он бесшумно кружил по рядам, выныривая то справа, то слева, и смотрел на меня, смотрел, не отрываясь.

Я не стерпела этого долго. Швырнула тряпку в корзину.

— Ищешь чего, барин? Спину мне прожжёшь скоро.

Он привалился плечом к полке. Тонкая, змеиная усмешка тронула губы.

— Нашёл уже. Крайне любопытный экземпляр. Вы со всеми так дерзки?

— А вы на всё так пялитесь?

Тут из-за угла наконец-то выкатился Данко. Увидел нас, побледнел, схватил меня сразу за локоть и поволок в подсобку.

— Одурела, Мирка?! — зашипел он мне в самое ухо. — Этот чужак из самой Веретети. Серебром платит не глядя. Не задирайся с ним!

— Он кружит вокруг меня, как коршун!

— Пусть хоть пляшет, лишь бы монету нёс.

Когда чужак ушел с покупкой, Данко остался стоять за конторкой, красный как клюква на снегу. Уши пылали, глаза бегали. Я оперлась локтями о столешницу.

— Что ты ему сбыл, Данко? Запретное что-то?

Он замялся, теребя бороду.

— Да так. Обычный трактат... Мирка, иди полки протирай — работа ждет.

— Работа не волк, в лес не убежит. Я тебе не батрачка, а помощница. Подождет меня пыль, не улетит.

— Иди отсюда, кому сказал!

— Не пойду, пока не скажешь, что тот бледный барин купил.

Данко тяжело вздохнул, будто стон испустил, и сунул мне тонкую берестяную обёртку, снятую с проданной книги. Я вчиталась в вязь — и у меня аж уши со стыда загорелись.

«Плод улады. Наставление о телесном рукоделии и ночных утехах, дабы ложе супружеское медом исходило».

Срамная книга?? В городищах за такие вещи плетью на площади били!

— И ты ему это отдал?! — ахнула я.

— За пять серебряных! — Данко потрянул увесистым мешочком перед моим носом. — Сказал, невесте в дар повезёт.

Тьфу, мерзость какая. Этот белобрысый чужак с глазами мертвеца — и покупает такое. Для невесты, значит. Чудеса. Чего только нет на белом свете!

На третий день моей службы в читальне я села писать весть отцу. Он бросил нас два года назад, когда мать начала харкать кровью. Сбежал в соседнюю весь, нашел себе бабу здоровую да кожей торговал там.

Острое писало в моих пальцах со скрипом царапало бересту:

«Хворь матушку съедает. Зима лютая. Помоги серебром, ради крови родной».

Отдала грамотку проезжему гонцу.

Ответ пришел скоро. Куций огрызок коры, а на нём корявые буквы:

«Самим жрать нечего. Взрослая стала, Мирка. Живите как знаете».

Слёзы обожгли глаза, но я их сглотнула. Злость оказалась терпимой. Я схватила уголь и нацарапала поверх его слов:

«Помрёт мать — на весь уезд ославлю, что Гордей Костич родную кровь мору сдал! Жди славы, батя».

Отдала гонцу и осталась в читальне одна. Вечерело. Стылая синева ползла по углам.

И тут по коже снова прошел сквозняк. Тот самый, когда спиной чувствуешь чужой взгляд.

Я подошла к окну, подышала на мутную слюду и протерла пальцем круглое пятнышко.

Там, за сугробами, у самой кромки леса, где начинались лесные уголья, темнел чей-то силуэт. Обычный мужик на таком холоде уже запрыгал бы на месте или уткнулся носом в шубу. Этот не шевелился. Ветер трепал на нём полы тёмной одежды, в лицо летела снежная пыль, а он даже глаз не зажмуривал. И смотрел прямо на мою избу. В упор.

Я отпрянула от страха, спиной ударившись о печной угол. Горло перехватило от дикой догадки: Идан не вернётся.

Сладкие думы

ЗАМОК БЕЗСМЕРТ

Томор вытянул ноги к очагу. Пламя лизало закопченные личины Велеса и Перуна на каменном камине, но жар не брал стылую кровь багряного. На коленях покоился фолиант, переплетенный в разохшуюся телячью кожу. Томор медленно водил длинным когтем по тиснению. Страниц он так и не открыл.

Он смаковал эхо ушедшего дня.

Женщины, которых Вальдемар приводил в горы, пахли одинаково — страхом и готовностью подчиняться. Девушка из Мглани выбивалась из этого ряда. Смотрела исподлобья, но зло, словно прижатая к земле рысь. Обычная смертная, подумал Томор: её потолок — возиться с детьми в избе да слушать, как за околицей воют волки. Но её сердце стучало слишком громко. Он слышал. Этот частый, упрямый толчок крови до сих пор зудел у него в ушах.

Томор поскрёб ногтем обложку «Плода улады». Написал же кто-то. В памяти отпечаталось, как девушка покраснела шеей и шумно сглотнула, едва разобрав буквы на бересте. Он наблюдал за реакцией из теней. Почти две сотни лет его ничего так не развлекало.

Сквозняк качнул фитиль. Митро показался из угла, из

темноты зала. Шагов его Томор не расслышал, нос сам уловил мёртвый, сладковатый запах — так несло от каждого, кто долго терся в багряных низинах.

— Опять в бумажках ковыряешься? — Митро заговорил с натугой. Глаза у него зацепились за обложку на коленях брата. — Новая? Где взял?

Томор лениво перелистнул страницу. Для его глаз буквы всё равно расплывались.

— Раздобыл в одной дыре, — ответил он, не глядя на брата. — В Заозерье. Лавка там есть старая. И девка при ней... любопытная.

Митро повёл носом, шумно втягивая воздух, будто вынюхивая обман в словах брата. Своих сородичей провести трудно, ложь они чуяли сразу, но Томор умел прятать мысли так, что снаружи ничего не проглядывалось.

— Мой брезгливый брат загляделся на какую-то девку? — Митро хмыкнул. — Должно быть, редкая красавица.

Томор откинулся на спинку и прикрыл глаза, будто ему вдруг стало смертельно скучно.

— Куда там. Деревенская баба — кость широкая, руки как у кузнеца. Несет от неё луком за версту. А орет так, что пьяный ловчий обзавидуется.

Митро скривил губы, обнажив удлинившиеся клыки.

— Брешешь.

— Отчего же? — Томор ядовито улыбнулся. — Уродство порой бодрит не хуже смазливости. В нём есть... изъян.

Гнильца, в которой хочется поковыряться.

Митро выдавил из себя утробный звук и пошёл к ступеням в ледник. Томор дождался, пока скроется его спина, и перестал улыбаться. Брат ушёл сомневающимся, но драку без повода не затеет. По крайней мере, пока.

Под потолком погреба висела туша оленя в мешковине. Митро дошёл до неё в темноте, забил пальцы прямо под ребра зверя и рванул на себя, выламывая кусок волокнистой мякоти вместе с ледяной коркой. Набил рот, сдал зубами. Пошее мазнуло чем-то теплым. Насыщения не случилось.

Вкус отсутствовал. Точно набрал в рот речной грязи со дна.

На губах всё ещё стыл иной вкус. Кровь Идана. Этот вкус въелся в нёбо, прошёл мозги.

Митро привалился затылком к покрытой инеем стене, тяжело дыша. Перед внутренним взором снова вспыхнуло чужое, украденное видение. Мглань. Запах талого снега. Тонкие девичьи ключицы. Смех. И самый большой секрет охотника. Идан боялся. Боялся не клыков во тьме, а богов и проклятий. В мыслях он давно таскался по весёлым теремам, лапал податливых, жирных девок, предавая свою чистую суженую, но наяву трусливо замаливал грехи, не смея прикоснуться к ней.

«Гниль. Жалкий смертный трус», — подумал Митро и сжал кулак так, что оленьё мясо превратилось в кровавую кашу.

Митро колотило. Перед глазами крутилось одно и то же: он приходит в Мглань по весне, перешагивает через мазанный дегтем порог и встает перед ней. Твой суженый был швалью, скажет он ей. Искал блудниц, а молился чурбанам. Я никому не молюсь. Давай сюда свой страх. В его дурной башке она не была от скорби. Смотрела в упор, и в зрачках у нее было то же самое черное полымя, от которого у него самого горели потроха.

Митро с маху всадил кулак в камень. На щеки сыпануло крошкой. Внизу живота потяжелело, скрутило тугой, злой судорогой. Поймать бы. Смять в охапку. Выжать до капли.

Нельзя. У нее жизнь одна. Хрупкая.

А наверху Томор продолжал листать старую бумагу. Брат его слеп в своей дурной тяге. Дикий зверь ломает хребет и оставляет после себя лишь требуху. Глупый зверь тот. Настоящий хозяин забирает чужую волю медленно и по доброй воле жертвы.

Завтра он снова вернётся в Мглань. Пройдет сквозь бесполезные обереги на воротах — только нутро сводит от этой дряни, никак больше побрякушки намоленные не мешают их багряной натуре. Он зайдет в избу, что читальней зовется. Бросит на деревянную стойку тяжелую серебряную монету и заставит ту девку искать новую книгу для него. И будет ждать, когда до нее наконец дойдет, кто именно стоит перед ней.

Томор с довольным видом закрыл книгу. Слишком долго

ОН НЕ ОХОТИЛСЯ.

Счастливым быт

МИРКА

В чугушке булькало варево из кислой капусты. Мясо, слава богам, успело развариться — не зря я отдала за него целое состояние.

На столе чадила лучина, выхватывая из темноты неровные, смолистые стыки бревен. В этом зыбком желтом мареве капустные ошметки казались золотом, а жирные мясные волокна — на диво сытными. Виданка, взгромоздившись на дубовую табуретку, сдувала с носа прядь волос и целилась ломтиком хлеба прямо в кипяток. Промахивалась, конечно. Капуста с шипением шлепалась на раскаленный бок печи, она испуганно хихикала, ловила мою ложку по заливку, но не плакала — только губы дула.

За ставнями бесновался ветер, ломал сучья в черном лесу, а у нас тепло было, по-домашнему уютно. Матушка грела пальцы о шерстяной платок. Лицо у нее совсем усохло, щеки впали, глаза провалились, подернутые поволокой, но сейчас она смотрела на нас и губы ее едва заметно приподнялись в улыбке. Я упрямо терла деревянной мутовкой дно чугушка. От взгляда на матушку горло перехватило, но руки дело делали. Сытная похлебка в наших весах завсегда сильнее любого знахарского корня была. Поужинает — и полег-

чает. Должно полегчать.

— Матушка, — я звякнула черпаком о край, не оборачиваясь. — Я из веси сегодня с добром вернулась.

— Какое там добро в наши-то времена, Мирушка?

— В читальне у Данко серебро взяла. Пять монет. Пришлый один, из верхних городищ, выкупил старую рукопись. Ну я свое и требовала за работу, — я вытащила из-за пазухи холщовый узелок и выложила добро на столешницу. — Вот. Тетка Милана на торжище за них сушеных яблок в диком меду отвесила. Чай попьем.

Видана аж подпрыгнула, едва табурет под собой не перевернула, затрясла ладошками. Матушка глубоко, с хрипом вздохнула, сухой кашель заклокотал у нее в груди, но утих, отпустил.

— Кормилица ты наша... — прошептала она, и в уголках глаз блеснула живая слеза. — Как есть кормилица. Что б мы без твоих ног и рук делали.

— Да брось ты, мам, — я мотнула головой, чувствуя, как к ушам приливает дурная кровь от похвалы. — Везение, не больше. Книга просто... смутная была. Не для каждого глаза. Вот дорого и продали.

— Это какая же книга? — Виданка тут же любопытно вытянула шею, глаза круглые, как плошки.

Я прикусила язык. Расскажи тринадцатилетке, что породистый барин с холодными глазищами выкупил срамной свиток о постельных делах, так до утра расспросами изведет.

Но сестрица смотрела так, словно я ей тайну мироздания задолжала. Жалко даже стало дите малое.

— Обыкновенная книга, — выкрутилась я, накладывая похлебку в миски. — Про долю мужнюю да женину. Как в доме лад держать, да чтоб детвора не хворала. Всякое такое... приписное. Ничего интересного.

— У-у-у, — разочарованно протянула Видана, но тут же хитро прищурилась. — А сама-то небось носом в страницы потыкалась?

— За такие тыканья Данко мне быстро пальцы линейкой пересчитает, — я строго стукнула миской перед ее носом. — Ешь давай. Мала еще про мужние дела слушать.

— Мне тринадцать исполнилось на Куделицу!

— Вот доживешь до двадцати, тогда и свитки такие листать будешь, — я плеснула матушке самого наваристого бульона, где побольше мяса было. — Ешьте, пока не остыло.

Все смолкли, ложки застучали по дереву. Видана хлебала торопливо, шумно, обжигая розовый язык и усердно дуя на похлебку. Матушка едва цедила юшку, с трудом проталкивая каждый глоток сквозь воспаленное горло, но держалась, не откидывалась на подушки.

— Мирка, — Видана облизанной ложкой указала на окно, за которым шумел приграничный частокол. — Ну Расскажи про пришлого того. Который книгу купил ту. Дорогущую. Какой он?

— Да обычный. Из тех, кто точно солнца не видит, — я

пожала плечами. Перед глазами возникло бледное лицо чужака. — Волос белый, как зимний лен, а глаза... боже прости, светлые, глубокие, как у рыбы. Ходил меж полок, бесшумно так, словно и земли не касался. И все зыркал на меня. Будто вынюхивал что-то.

— А так-то пригожий? — девчонка аж подалась вперед, забыв про еду.

Пригожий?... Он?

— Не знаю, — соврала я, а ладони противно повлажнели. — Лик чистый, стать боярская, да только жуть от него веяла. Холодом. Словно морок лесной в кафтан ряженный. Глянет своими белесыми буркалами — и кровь в жилах стынет. Рада была, когда он свиток этот срамной под мышку сунул да за порог шагнул.

— Может, приглянулась ты ему, Мирка? Вот и зыркал так много на тебя. Кровь-то у тебя девичья, чистая...

— Замолчи лучше, дурочка, — я перекрестила угол, где темнел старый лик Лады. — Чужой он. С какого-то далекого городища спустился, видать, по купеческим делам, туда ему и дорога. Пускай в свои веси и возвращается. Нечего чужакам в нашей Мглани высматривать.

После похлебки мы принялись за сладкий гостинец. Яблочки, упревшие в диком меду, сделались темными, мягкими; стоило надкусить — и вслед за губами тянулись тугие янтарные нити. Виданка вмиг уделала щеки до самых ушей, уплетая за обе щеки, матушка лишь укоризненно качала го-

ловой, но щеки ее тоже теплели.

— Мирка, — прошамкала малая, утираясь холщовым обшлагом. — А давай поутру на санках с крутояра скатимся? Намело-то как, горка знатная вышла! Неделю ведь канючу, а ты все в своей читалке спину гнешь.

Я глянула на ее курносый нос, на то, как она нетерпеливо переминается с ноги на ногу, и сердце растаяло. Не смогла отказать.

— Ладно. Будь по-твоему. С рассветом пойдем, пока солнце высоко не поднялось и мгла из лесу не поползла.

— Ур-ра! — сестрица подпрыгнула, едва не своротив со стола пустую деревянную плоску.

В читалку пришлось бежать в ночь — Данко еще с полудня просил подсобить с новыми коробами, что купцы доставили из дальних весей. До самых третьих петухов я разбира-ла пожелтевшие свитки, стирала пыль с дубовых полок. Когда задвинула за собой дверь лавки, ноги будто отнялись, а меж лопаток заныло от тяжелой работы. Дома всё как всегда: матушка дремала у остывающего устья печи, укутав зябкие плечи, а Виданка уже свернулась калачиком на лежанке.

— Мирушка, — едва слышно шепнула мать, приоткрыв веки. — Сходила бы ты к колодцу. Младшая-то всю кадушку на мытье извела, а свежей набрать ума не хватило. Завтра воды не будет. Утром всегда очередь там.

Я только зубы сжала, чтоб не завывать от усталости. Жилы тянуло, но без воды избу не оставить.

— Сейчас, матушка, — ответила я, затягивая кожаный пояс поверх овчинного тулупа. Косясь на притихшую лежанку, добавила: — Виданка, ишь, русалка выискалась. Скоро весь колодец до донного ила вычерпаешь своими помывками.

— Да я ж откуда знала, что там совсем на донышке оставалось! — донесся из темноты притворно-сонный писк. — Думала, полна бочка!

— Полна, как же, — буркнула я, натягивая рукавицы. — Гляди у меня, если в темноте в сугробе увязну — вся вина на тебе будет.

— Все одно люблю тебя, Мирушка! — полетело мне вдогонку.

Я уже взялась за обледенелое кольцо двери.

— И я тебя, егоза, — выдохнула я в темные сени.

За порогом прижало морозом. Небо затянуло черной синевой, но наст под луной блестел так, что тропка к колодцу виднелась отчетливо. Подшитые валенки сухо поскрипывали по наледи. Ведро привычно оттягивало руку, а в груди все еще держалось тепло от сытной похлебки и сестринского смеха.

Изба наша осталась позади, в крошечных оконцах теплился родной огонек. Думалось мне о хорошем. Вот вернется Идан с промысла, принесет рыбы, продадим, купим лекарства побольше — и матушке полегчает. А там и Виданка войдет в пору, просватаем за доброго парня какого-нибудь. Все сладится, все устроится.

С этими думами я дошла до колодца, пристроила ведро на обмерзший венец сруба и ухватилась за обледеневшую веревку. Позади, у самой изгороди, хрустнул наст.

Пальцы так и примерзли к ведру. Я резко обернулась, уставившись в темноту леса.

Никого.

Вокруг только белое поле, и поземка змейками вьется между кольями частокола.

Я шумно выдохнула, мысленно обзывая себя трусихой. Мерещится уже всякое от усталости. С тех самых пор, как у хлева промелькнула та длинная тень, в каждом шорохе засада мне теперь видится.

Обернувшись к колодцу, я занесла ведро над черным зияющим зевом.

И тут снова хрустнуло. Совсем рядом. В трех шагах всего.

В этот раз я ждать не стала — крутанулась на пятках и заорала от испуга.

Прямо передо мной из морозной дымки вывалился матерый волчище. Зверь был огромный: загривок выше моего пояса, шерсть торчит жесткой седой щетиной. Морду перекосило, из пасти с желтыми клыками валил густой пар, а глаза горели, как гнилушки на болоте.

Я попятилась, теряя опору. Ведро с грохотом сорвалось с венца, покатилося по обледенелому насту, высекая звон.

Волк подался вперед. Тяжело, вкрадчиво.

Еще шаг.

— Тихо... тихо, — забормотала я, зачем-то пытаюсь заговорить зверя. — Не трогай меня, серый. Я мимо шла. Иди давай тоже. В лес.

Волк низко зарычал. Колени сразу подогнулись. Я вжалась спиной в бревна колодца. До крыльца всего ничего было, шагов двадцать, но эта серая туша перекрыла собой тропку. Рванусь — настигнет в один прыжок, перекусит хребет, и пикнуть не успею.

Что делать-то? Какой выход из беды искать?

— Матушка Мокошь, укрой... Перун, отведи беду... Род правый, не дай сгинуть, — зашептала я, зажмурившись до рези в глазах, вспоминая бабкин наговор. Больше защищаться было нечем. На богов вся надежда.

Сверху налетел резкий вихрь, мазанул по лицу колючей снежной стружкой. Щеки обожгло холодом.

Я распахнула веки.

Волчище стоял на прежнем месте, утробно рокоча и готовясь к прыжку. Но позади него, у самой кромки векового бора, выросла человеческая фигура.

Парень это был. Высокий, раздатливый в плечах. Из-под собольей накидки свисали черные волосы до самой груди. Кожа бледная, застывшая, ни одна жилка на лице не шевелилась. А вместо глаз — темень сплошная, без белков, будто два угля прогорелых. Рядом с ним стоять было холоднее, чем на ветру в глухозимье.

Я хрипнула.

Волк решил, что это я от него так затихла в испуге. Зверь оттолкнулся от наста и с разинутой пастью прыгнул мне прямо в шею.

Я вскинула руки, закрывая лицо, и зажмурилась. По ушам ударил звериный визг, сразу перешедший в короткий костяной хруст. Что-то тяжелое рухнуло на наст, снег под ногами качнулся.

И всё. Глухая тишина вокруг.

Я стояла вцепившись пальцами в рукава тулупа. Глаза открывать было страшно — казалось, увижу кровавое месиво кругом или, чего доброго, наткнусь на взгляд этого черноволосого.

— Не смотри, — раздался голос прямо над ухом. Низкий, ровный.

Я не послушалась. Сама не знаю, зачем вечно лезу куда не просят, но веки я всё-таки разомкнула.

И лучше бы не делала этого.

Белый наст вокруг колодца стал багровым. Горячая юшка дымилась на морозе, ручьями уходила под корку снега и подьедала сугробы. Только ни волка, ни того черноволосого рядом уже не было. Вообще никого. Остался лишь этот жуткий мокрый круг из алого на снегу.

Ноги сразу сделались чужими. Я подалась назад, но валенок поехал по льду — как раз там, где разлилась вода из опрокинутого ведра.

Удержаться не получилось. Я взмахнула руками, перева-

лилась боком через край сруба и ухнула вниз, в колодезную темь.

Косы рвануло вверх. Воздух из груди вышибло сразу, даже крикнуть не успела, только рот разинула впустую. Чернота подхватила и охотно потащила ко дну, а в башке крутилась одна мысль: сейчас ударюсь о ледяную кашу внизу и разобьюсь к чертям.

Но удара я не дождалась. Снизу вверх потянуло таким диким студнем, будто колодец до самого дна промерз за миг. Этот морозный воздух поймал меня, закрутил, как сухую щепку, и падение замедлилось. Этот холод пробрал до самых костей, аж дышать перехотелось, но в темноте меня словно держал кто-то. Не давал упасть.

И прямо перед тем, как в глазах окончательно потухло, я почувствовала чужой рот на своих губах. Холодный, гладкий, с привкусом горькой полыни. Чьи-то губы будто скользнули по моим.

В ту же секунду меня дернуло вверх, вышибло обратно из колодца, и я плашмя влетела в сугроб. Мягко, даже бок не отбила.

Я лежала на спине, открыв рот и ловя губами морозный воздух. А сверху, в черном небе, торчала круглая луна.

Я полежала немного, глядя вверх.

Провела ладонью по лицу, подергала ногами — пальцы шевелятся, кости целы. Кое-как поднялась на карачки, увязая в сугробе, и повернулась к колодцу.

Там тихо. Наст чистый, ровный, никакой крови или примятого снега. Ни волка, ни того чудовища в облике человека с черными провалами вместо глаз. Только белое поле до самого леса.

Я поднялась на ноги, пальцы на руках до сих пор не слушались. Может, с ума схожу от усталости? Шла с ведром, поскользнулась, влетела головой в бревно, вот в башке всё и перепуталось. Морок обычный. Привидится же дрянь такая, работать надо меньше.

Кое-как я доковыляла до крыльца, проскочила в сени и навалилась на тяжелый засов. Кожа на шее горела. Я сдернула тулуп, потянулась к гвоздю в стене и тут почувствовала, как по спине потекло что-то ледяное.

Я застыла. Медленно, едва дыша, перекинула косу через плечо на грудь. Волосы были мокрые насквозь. С них прямо на рубаху капала вода.

Пальцы дрогнули, когда я коснулась сырых прядей. Так искупать косу в зимнюю пору я могла лишь в одном месте.

На самом дне колодца...

Значит, морок тот был явью.

Плод услады

На следующее утро я покинула избу еще затемно. Натужно скрипнула обмерзшая дверь, я поглубже вжала голову в плечи, затянула кожаный кушак поверх тулупа и ходко припустила в сторону веси. Ветра, слава богам, не было. Столетние ели застыли вдоль тропы, согнувшись под неподъемными белыми шапками.

Тишь стояла мертвая, благодатная.

Я почти бежала, силясь вытравить из головы ночные ужасы у колодца. Сырая коса на морозе успела превратиться в ледяной кол, но потом оттаяла под платком и высохла, а вот память о неживых, прохладных губах и бездонных глазах-угольях сидела во мне занозой. Буду думать, что закружил меня лесной морок, пока не докажу обратное. Другого спасения для разума не было.

У старой полуразрушенной бани я круто свернула за угол и зацепила носком валенка что-то прямоугольное и твердое, скрытое под свежим настом. Нога поехала, я едва не впечаталась носом в угол. Тихо чертыхнувшись, обернулась и наклонилась разгрести снег.

Из снега торчал угловатый корешок. Я поддела его пальцами, потянула на себя. Тяжелая кожаная обложка, крест-накрест перетянутая заскорузлой бечевой. Ни клейма, ни прописных букв на переплете. Но я узнала ее в тот же миг.

«Плод улады».

Та самая запретная книга, что мы несколько дней назад с Данко сбыли светловолосому барину.

Я испуганно зыркнула по сторонам. Кругом ни души. Как эта бесстыжая вещь очутилась в придорожной канаве у бани? Неужто тот чужак обронил ее во хмелю? Или выбросил за ненадобностью?

В голове всё смешалось. Как она тут оказалась? Я поднесла книгу к лицу и сдула налет инея. Восковой холст, в который Данко замотал покупку, спас листы — бумага только по краям чуть пошла волной. Видать, лежала в сугробе с полуночи, не больше.

Я еще раз оглянулась на пустую тропку, запихнула книгу поглубже под тулуп и прижала локтем к ребрам. Припустила быстрее. Что теперь делать-то? Данко отдать? Сказать, мол, в снегу подобрала, пускай сам разбирается или обратно на полку сует.

Только внутри уже свербило. Жуть как хотелось глянуть, что там за слова такие, за которые бояре не глядя швыряют целые серебряники.

Под овчиной сразу стало душно, к щекам прилила кровь.

В читалке я споро скинула верхнюю одежду, повязала холщовый фартук и принялась перебирать упекшиеся за зиму свитки. Данко возился у прилавка, шуршал старыми грамотами и даже бровью в мою сторону не повел — привык, что я тенью хожу всегда. Я расставляла тяжелые фолианты по пол-

кам, но глаза то и дело косились на вешалку у порога. Там, в кармане тулупа, таился срамной грех.

Куда его теперь девать?...

К полудню Данко наконец засобиравшись наружу — буркнул, что староста кличет по поводу недоимок за воск. Дверь за ним захлопнулась, и я осталась в читальне одна. Тишина в этих стенах всегда располагала к тяжелым думам. Но думы лада не давали.

Не выдержав, я подошла к вешалке, сунула руку в карман и извлекла находку. Долго гипнотизировала взглядом темную кожу. Потом мотнула головой и запихнула обратно.

Нет. Нельзя. Не мое добро, не мне и лапать.

Но прошел час, Данко все не возвращался, а я уже перетерла от пыли каждую плашку до зеркального блеска. Лукавая мысль опять зашевелилась в затылке.

Я тихонько выскользнула через заднюю дверь. Там, под дощатым навесом, у меня была припрятана старая лавка, на которой я обычно пряталась от чужих глаз с книжкой. Сгребла рукавицей снежный пух, села, вжавшись в бревенчатую стену, и огляделась — пусто. Выудила книгу и положила на колени.

Была не была. Один разок гляну — и сразу закрою.

Я откинула крышку переплета. И тут же захлопнула, едва дыша.

Батюшки-светы, спаси и помилуй!... На первой же странице красовался рисунок. Мужчина и девица, переплетенные

на ложе в таких немыслимых коленях, что у меня корни волос запекло от стыда.

Я затравленно обернулась на забор, хотя знала — двор пуст. Пальцы сами потянули страницу дальше. Текст был писан старым вязом, но я с детства привыкла разбирать такие каракули.

«Как мужу жену ласкать, дабы прелести ее сокровенные открылись...» «О поцелуях тайных, что уста разжигают до неистовства...» «О касаниях перстами мест желанных, кои девичью робость рушат...».

Я перелистнула еще пергамент, и глаза едва не вылезли на лоб. Там шли наставления — дотошные, сочные, с пошаговым умышлением, как языком, ладонями и прочими плотскими частями тела доводить бабу до изнеможения. Читала я про «сладостные трепетания утробы», и чудилось мне, что я сейчас живьем сгорю на этой обледенелой лавке, обращусь в пепел.

— Любопытное чтиво для чистой девицы, не нашедшей мужа.

Я подскочила, словно ужаленная. Книга выскользнула из обмякших пальцев и плюхнулась прямо в сугроб. Крутанувшись на месте, я приросла подошвами к насту.

В трех шагах от лавки, привалившись плечом к опорному столбу навеса, стоял тот самый пришлый барин. Из одежды — лишь тонкий суконный кафтан, шапки нет и в помине, а лик бледный, будто мороз ему вовсе не указ. В руках он

крутил скрученный кусок бересты и улыбался — тонко, насмешливо, едва приподнимая левый угол губ.

— Ты!... — вытолкнула я из пересохшего горла. — Это же твоя книга!

— Моя, — лениво согласился он, не меняя позы. — Обронил у озерного перепутья. Задумался о своем, не приметил, как из полы скользнула. А ты, гляжу, подобрала. И времени даром не теряешь.

Я почувствовала, как жар заливает шею и уши, но упрямо вскинула подбородок, силясь казаться грозной.

— Ничего я не читала! Так... листы перебирала, чтоб просохли.

— Похвальное чадолюбие, — усмехнулся он и сделал шаг вперед. — Ну и как тебе наши художества? Картинки, признаю, знающие мастера правили. Но само писание... О, эти слова похлеще банной печи кровь разгоняют. Особливо третья глава — про «уготовление ложницы для ночной утехи». Согласна со мной?

— Да не читала я! — выкрикнула я так громко, что вороны на частоколе встрепелулись. Самой тошно стало от своего визга.

— Отчего же? — он чуть наклонил голову. — Боишься узнать, как оно бывает? Или страшишься, что ведовство плотское слишком по сердцу придется?

Я гневно сжала кулаки, но ответить не успела — барин шагнул вплотную и протянул мне руку в кожаной перчатке.

— Нехорошо вышло, не назвался тогда в лавке. Томор я. Из рода Безсмерт.

Я уставилась на его ладонь, оцепенев. Подать свою? Но у нас в Мглани с пришлыми господами за ручку не здороваются. А он стоял так близко, высился надо мной и глядел нагло, будто насквозь меня видел — до самой последней сорочки. Намеренно не подняв руки, я лишь переступила с ноги на ногу, уминая снег.

— Мирка я, — буркнула под нос, нагибаясь и подхватывая книгу с земли. — Забирай свое добро. Обронил — так карауль лучше. Надеюсь, страницы не попортились.

Он принял книгу, и его длинные пальцы медленно прошли по обложке, словно поглаживая живое существо. Я поспешно отвела глаза.

— Славное имя. Мирка... А по батюшке как величать?

— Просто Мирка, — отрезала я, запахивая тулуп. — У нас в Мглани перед чужаками чинами не пыжатыся. А вот твое имя — не здешнее. Не слыхала у нас таких.

— Имя из древних, — обронил он с легким вздохом. — Но родился я, к твоему сведению, в этих самых пределах. Во Мглани.

Я вскинула на него глаза:

— Быть не может! Я всю деревню знаю, тебя ни разу не видела.

— Малым ребенком меня отсюда увезли, — Томор повел плечом. — Все детство да отрочество в дальних городищах

провел. Полгода как вернулся в родные гнезда. Так что не дивись, что для тебя я чужак. А книгу... книгу эту я тебе оставляю. Дарю.

— Чего?! — у меня аж дыхание перехватило.

— Мне-то она зачем? Я в этих премудростях и без писаря толк знаю, наизусть каждую строчку помню. А тебе, милая, в самый раз будет. Для свадебного дела — первейшая подмога.

— Я не просватана!

— Так оно и к лучшему, — Томор прищурился. — В девках умом наберешься, после и мужа дураком не оставишь. А то найдешь какого-нибудь лапотника несведущего, так хоть сама его образумишь, как к тебе подступаться надо.

Я открыла было рот, чтобы высказать ему все, что думаю о его господской наглости, но он приподнял ладонь.

— Не кипятись, дорогуша. Шучу я. Хотя свиток, ей-богу, дельный. Я там немало любопытного почерпнул в свое время. К примеру, как девку к первой ночи ублажать, чтоб она от страха не выла, а сама ласки просила. Как пальцем ее ведовские места тревожить, чтоб стыд ушел. Как устами припадать туда, где солнце отродясь не светило... И как она потом в руках плавится, точно восковая свечка перед ликом божьим.

— Замолчи! Перуна ради, замолчи! — в сердцах закричала я и намертво залепила уши ладонями. Лицо горело так, будто меня в костер толкнули. — Слышать не желаю твоих срамных речей!

Томор вдруг рассмеялся. Звонко, открыто, совсем по-мальчишески, без капли давешней надменности. Я невольно отняла руки, дивясь такой перемене. Хотела злиться, уйти в читальню, хлопнув дверью, но его смех оказался на диво заразительным. Я почувствовала, как губы сами дернулись в улыбке. Дура дурой, честное слово. И бежать поздно, и ругаться дальше духу не хватает.

— Ладно, — ухмыльнулся он, смахивая пальцем выступившую от смеха слезу. — Не стану больше мучить твою невинность. Скажи лучше, Мирушка, что тут у вас еще читают, кроме этой... душеполезной науки?

— Ничего я не знаю, — упрямо буркнула я, скрестив руки на груди. — И книгу твою срамную читать не стану.

— Верю, верю, — покладисто кивнул он. — Можешь просто под перину её припрятать. На случай долгой зимы.

Я уже развернулась, собираясь скрыться в сенях читальни, но его негромкий голос настиг у самого порога:

— Покажешь мне, где у вас книги по травам и кореньям лежат? Мне без надобности лечебники, да только запасы с осени поистратились, а люди говорят, у Данко полки от ведовских свитков ломаются.

Я притормозила и уставилась на него исподлобья:

— Вправду травники нужны? Или опять зубы заговариваешь?

— Честное слово, нужны, — он развел руками. — Обещаю: никаких ложниц и плодов улады. Только знания.

Я помолчала, кусая губы. Сама не понимала, какой бес толкает меня согласиться. То ли девичье тщеславие, то ли желание еще хоть минутку послушать его речи — при всей своей наглости этот барин манил к себе чем-то. Да и про долю от продажи забывать не стоило: если этот богатеи выкупит пару лечебников, Данко мне столько серебра отсыпет, что матушке на всю весну лекарств хватит.

Я коротко махнула рукой:

— Ладно уж, ступай за мной. Только через черных ход проскользнем, там потише, и ветром из сеней не тянет. Да и Данко меньше вопросов задаст.

Он охотно двинулся следом. Притолока у задней двери была низкая, срубленная под мелкий рост Данко — мне и то пришлось пригнуться, а Томор согнулся чуть не вдвое, из-за чего я едва сдержала смех. Я хотела побыстрее прошмыгнуть мимо него в полутемный коридор, но тот вдруг резко выпрямился и уперся широкой ладонью в косяк, перекрывая мне путь.

Я оказалась зажата в тесном пространстве между его рукой и стеной. Кафтан его пахнул морозной хвоей, будто сам лес в нем зашит был.

— Ты чего это?... — прошептала я, замерев.

— Ничего, — так же тихо отозвался он. — Хочу лицо твое при лучине разглядеть. Стоишь, дышишь загнанно, будто пред тобой сам змей-искуситель явился. А я ведь всего лишь пришел на твои травы посмотреть, дорогая.

— Пропусти тогда.

Он хмельно хохотнул, отнял ладонь от косяка и отшагнул, давая мне дорогу.

— Строптивая ты, — пропел он вслед, ступая шагом в шаг по моим следам.

В бревенчатом нутре читальни стоял покой. Я подвела его к дальнему углу, где громоздились лечебники по травам, указала на нужные корешки. Томор выудил парочку, перевернул несколько пергаментов, усмехаясь каким-то своим, ведомым лишь ему мыслям. Я спиной чуяла, как его взгляд то и дело соскальзывает с букв на мою шею, и упрямо воротила нос к окну.

— У меня к тебе иная просьба будет, Мирушка, — вкрадчиво позвал Безсмерт. — Покажи-ка мне ту вещь, к которой у тебя самой душа лежит. Что тебя в этих стенах больше всего манит?

Я нарочно долго шла вдоль полок, трогая пальцами пыльные корешки. Пыталась вспомнить, где лежат интересные рукописи, но в голове как назло крутился только тот срамной переплет с картинками, который он забыл в сугробе. Я тряхнула головой, чтобы выкинуть эту чушь, но белобрысый барин уже очутился сзади.

— Знаю ведь, о чем думаешь. Ну же, не прячь глаза, — он наклонился к самому уху, и мне в шею пахнуло холодом, будто из ледника. Почему он такой холодный? — Я ведь без торгу всю полку с лечебниками забираю, если признаешься.

Так что не скромничай. Открой ту главу, на которой в первый раз застряла. Любопытно мне глянуть, что тебе по вкусу там.

Рука сама полезла под фартук, где лежала припрятанная книга. Я раскрыла тяжелый переплет на той самой странице, что запомнила, и перелистнула лист. Картинка там была знатная: мужик навалился на девку всем телом и запустил пальцы ей прямо между голых бедер. У меня аж уши со стыда загорелись.

Томор глянул из-за моего плеча, мазнул глазами по рисунку и ухмыльнулся.

— Знаешь толк, милая. Хорошая глава.

— Домой мне надо, — я с маху захлопнула обложку, так что пыль полетела. — Поторговали, и ладно. Данко потом деньги сочтет.

Я припустила к выходу, путаясь в подоле, но у самой двери все-таки обернулась. Томор так и стоял у полок, прижимая к груди охапку лечебных свитков. Довольный, гад, будто рыбу на крючок поймал.

— Рад знакомству, милая. Очень рад.

— И тебе не хворать, — буркнула я, налегая на дверное кольцо. — Только все равно врешь ты. Не верю я, что ты из нашей Мглани. У нас таких отродясь не водилось.

Он промолчал, только прищурился. Так и проводил меня взглядом до самой улицы.

Схватка интересов

ЗАМОК БЕЗСМЕРТ

Томор пинком распахнул дубовую дверь. Створка с маху ударилась о стену, и с его плеч на каменный пол полетел ком снега. В глубине залы, у самого огня, лежал Митро. Он закинул руки за голову и молча разглядывал угли.

Митро повернул голову на грохот.

— Видел я её, — Томор сбросил мерзлый кафтан на лавку. — Девку эту, из Мглани. Мирка которая.

Митро сел. Не спеша, без единого лишнего движения. Вопросы задавать не стал — ни где встретил, ни когда. Просто уставился на брата.

— Трогал? — спросил он.

— Обошлось, — Томор оскалился и зашагал по зале. — Поговорили только. Смешная она. Злится, а глаза блестят. Стыдно ей — так вся шея краснеет. Живая, в общем. Я бы еще раз к ней съездил. Может, и поближе подошел бы. Потрогал бы...

Митро сорвался с места. Томор едва успел выставить руки, перехватывая его запястья. Сцепились, кость в кость, и сразу покатались по полу.

Митро вывернул руку, перехватил брата и толкнул его на стену — резные щиты на кладке треснули, на камни посы-

палась щепя. Томор уперся ногами в стену, оттолкнулся и вкатил ему сапогом прямо в ребра. Митро отлетел назад, за-тылком сшибая стол. Тот разломился посередине, на пол со звоном полетели серебряные кубки и глиняные кувшины.

На шум из боковой комнаты вышел Вальдемар. В руке он держал чашу с медом. Прислонился спиной к косяку, от-хлебнул из чаши и стал смотреть, как братья ломают послед-ние скамейки.

— Надо же, — сказал он вслух. — А я думал, вы только лаяться умеете.

С верхней лестницы спустился Лукаш. Сел на ступеньку, обхватил колени руками и замер. Смотрел на драку, не мор-гая.

Митро снова повалил Томора, они покатались к самой пе-чи. От углей шло тепло, но оба даже не заметили опасной близости огня. Митро прижал брата спиной к плитам, замах-нулся, но Томор перехватил его ногу, вывернулся и сам ока-зался сверху. Так и застыли. Оба тяжело, с надрывом хри-пели — хотя дышать им давно было незачем, просто старая привычка осталась.

— Надоело мне из-за девки с тобой драться, — процедил Томор, сжимая руки брата.

Митро дернулся, попытался скинуть его, но не вышло. То-гда он просто обмяк и уставился в потолок.

— Так уйди с дороги.

— Не уйду, — ответил Томор.

— Это еще почему?

— Понравилась. Сильнее, чем думал. Мне тоже теперь скуку разогнать надо.

Томор отпустил его, отошел к стене и сел на пол, вытянув ноги. Митро так и остался лежать.

— Не про нас она, — сказал Митро. — В ней жизнь. А от нас мертвечиной несет.

— Ну и ладно, — Томор ухмыльнулся и сплюнул пепел на пол. — Мертвому тоже погреться хочется. Даже если пальцы сгорят.

Лукаш сидел на корточках у самого края скалы и смотрел вниз. Там, в снежной низине, затаилась Мглань. Струйки дыма тянулись из печных труб к черному небу. Из-за этого дыма, замешанного на запахе печеного хлеба, в голове багряного всплывало что-то далекое, давно забытое.

Холода он не чувствовал. Он вообще забыл, каково это — ощущать собственную кожу. Но стоило ему перевести взгляд на убогую избу на самой околице, у леса, как к горлу подступила тошнота.

Ведь когда-то, до Мора, они жили там же. Вся их семья. Мать да три брата. Лукаш помнил еще, как бегал по этим тропкам босиком, как мать давала подзатыльники за разодранную рубаху, как Митро учил его обтесывать топорище.

А после всё погорело. И они сгорели вместе с избой, чтобы очнуться уже другими — багряными тварями.

Теперь Лукаш сидел на скале и разглядывал деревню, которая когда-то была ему домом, а теперь стала загоном для скота. Для людей. Они даже пахли теперь не так, как в его памяти.

Вчера он до полуночи слушал, как старшие братья лаялись дома. Митро рычал, Томор издевался, и за этим сквозила такая злоба, что даже Лукашу стало не по себе. Интерес завладел им. Никогда прежде они из-за людей зубы не скалили, разве что из-за границ охотничьих угодий. А тут — из-за девки какой-то простоволосой.

К чему ломать копыя из-за той, что через полвека сама в землю ляжет и сгниет? Зачем тратить на неё силу, когда можно просто перекусить горло и забыть к утру?

Но старшие не забывали. Перемывали ей кости по ночам. У Лукаша слух тонкий, он ловил каждое слово. «Из Мглани она», — говорил Митро. «И леса не боится, идет как хозяйка», — вторил Томор.

И младшего Безсмерта взяло любопытство.

Лукаш отродясь ничем не интересовался. Плевать ему было на людскую возню, на их короткие жизни. Но тут в груди шевельнулось смутное недоумение. Что в ней за корень такой зарыт, что братья готовы друг другу глотки перегрызть?

Он решил посмотреть сам. Просто ради ответа.

Лукаш бесшумно сошел с крутояра и пошел низом, к домам. Тропка была хоженная, хоть он не ступал по ней добрых две сотни лет. Снег под его сапогами сминаясь без звука, за-

то сам он отчетливо слышал, как за бревенчатыми стенами изб стучат сотни сердец. Живые, теплые.

Он стиснул зубы, пряча клыки.

В самой деревне стоял шум. На площади крутился народ, кричали бабы, мужики голосили. Парни тащили на шестах соломенное чучело, пахло чадом от масла и блинами.

Масленица. Смертные зиму провожают, весну кличут. Он помнил эти игрища. Когда-то и сам бегал в общем хороводе, хватал блины с пылу с жару, заглядывался на девичьи косы.

Теперь он замер тенью у околицы. Никто его не замечал, пока на него не наткнулась стайка девчат. Подкатали гурьбой — штуки четыре, румяные от хмеля и мороза.

Одна, самая бойкая, шагнула вплотную и положила ладонь ему на плечо. Глаза так и зыркали из-под красного платка.

— Гляди-ка, девки, пришлый какой! — она оглядела Лукаша с ног до головы. — Ты чьих будешь, сокол? Из горских, никак? Красив, шельма. Пойдем с нами в круг, попляшешь. Или блинцом с медом угостить?

Лукаш уставился на неё неподвижным взором. Медленно снял её пальцы со своего плеча и качнул головой:

— Оставь. Не хочу я.

— А чего ж тогда хочешь? — встряла вторая и прыснула в рукавицу. — Стоишь тут как столб верстовой. Или высматриваешь кого?

— Высматриваю, — ответил он.

— Любушку свою?

— Нет. Ответ ищу.

Девчата покатились со смеху. Та, что посмелее, зашептала подружке на ухо: «У таких пригожих парней вечно в голове гуляет. Красота мужику — только девок портить. Красота в проклятие дана таким». Вторая закивала, утирая нос.

Лукаш слышал их шушуканье до единого слова. Он подался к ним лицом и тихо сказал:

— Вы и сотой доли того проклятия не знаете.

Он повернулся и зашагал прочь. Девки так и остались стоять.

Шум праздника быстро затих позади, а ноги сами вынесли его на глухой пустырь у самого леса.

Здесь когда-то стоял их дом. Он помнил каждое бревно, каждую трещину на пороге. Теперь тут лежал ровный снег да торчал чахлый терновник. Спалили их гнездо начисто, земля на три локтя пеплом пропиталась, оттого и трава не росла.

Лукаш замер, глядя на белую пустоту.

И в этот самый миг дверь соседней избы с грохотом распахнулась. Из сеней на мороз вылетела девица. Тулупчик наспех перехвачен поясом, в руке болтается пустое ведро, а серый платок съехал на самое ухо. Она бежала, чуть не падая, оглядывалась назад и что-то весело кричала тем, кто остался в тепле.

— Да вернусь я быстро! Воды наберу только! — долетел её голос.

Лукаш оцепенел. Он узнал её сразу. Не по лицу — лица её он отродясь не видел. Он учуял её так, как чуют живую воду посреди солончака. Жар от её кожи и пар из девичьего рта долетели до него мгновенно.

Младший Безсмерт понял: братья не врали. Она была другой. Настоящий костер посреди ледяной деревни. Этот свет обжег его так же сильно, как полыхал огонь в день, когда горел их дом.

Мирка его не заметила. Пролетела мимо по накатанному снегу, только ведро звякнуло, и скрылась за углом избы.

А Лукаш так и остался стоять, словно к насту примерз. Смотрел на глубокие следы от её валенок, которые уже высыпало снегом, и думал: «Вот она какая. Из-за которой братья готовы друг другу глотки вскрыть. Из-за которой я сюда и притащился».

Он провел ладонью по лицу, поправил волчью шкуру на плече и тихо двинулся по её следам. В голове было пусто, а там, где когда-то билось сердце, теперь что-то зашептало.

«Надо идти на охоту, — нашептывал ему голос внутри. — Вот и пришел. И добычу уже нашел».

Бесстыдница и бесстыдник

МИРКА

Масленичная дурь выплеснулась на улицы. Пятачок у избы старосты ходил ходуном от трезвого и пьяного люда. Девки голосили, мужики трясли тулупами, ребяшня совала в рты жирные блины. Хороводы закручивало змеями, гармонь за кабаком надрывалась. Я продиралась сквозь эту толпу и прижимала к груди холщовый мешок. Данко велел принести из дома ту самую рукопись, что я забыла в лавке на рассвете. Народу вывалило из всех щелей: хватали за рукава, дергали за полы, норовили утянуть плясать.

— Мирка! Куда летишь? Становись в круг, пятки собьем!

— Сюда иди, егоза, блином угощу!

— Чего нос повесила? Зиме каюк, весна на пороге!

Я отбивалась локтями, кривила губы и выкручивала руки из чужих пальцев. В голове мутилось от гомона, конско-го ржача и угара от топленого жира. Хотелось тишины. Чтобы отвязались все и перестали дышать в лицо. И еще никак не получалось избавиться от ощущения, что мне постоянно смотрят в затылок. Я оборачивалась, но в этой каше ничего не разберешь. Рожи, рожи, рожи...

Я тряхнула косой.

— Тьфу, привидится же, — буркнула я и юркнула в пере-

улок, что вел к нашей околице.

Здесь крики сразу затихли. Уши отпустило. Я пошла быстрее — забрать свиток да запереться в лавке, подальше от этих праздничных объятий, от которых уже мутило.

Дома я схватила сухую кожу с лавки и пошла обратно. У калитки кузнецова двора я заметила серый кафтан.

Это была Злата, дочка кузнеца. Высокая, крупная девка. А рядом с ней теснился Кузька, кожевников сын. Шептались у забора, а после парень впился ей в губы, зыркнул по сторонам, точно вор, и толкнул калитку. Злата только охнула и шмыгнула за ним в приземистый хлев.

Я остановилась на тропке. Надо было идти мимо, не мое дело, чего они там затеяли. Но ноги не двигались. После той ночи на сеновале с Иданом во мне будто зажглось что-то. Хотелось узнать, как это бывает у других. Так же у них кровь горит или иначе?

Я тихо зашла на кузнецов двор. Хлев стоял старый, доски рассохлись, между бревнами вылез мох. Я подошла к стене, нашла щель пошире и прильнула к дереву. В полумраке на куче сухой травы сидела Злата, задрав шерстяную юбку. Кузька стоял на коленях между её ног, рвал на ней рубаху и кусал за шею. Спустился ниже, девка протяжно выдохнула, выгнулась и запустила пальцы в его патлы.

— Кузенька... — позвала она.

Он поднял лицо и навалился на неё всем телом. Вошел тяжело, с натужным хрипом. Злата забилась под ним. Я ви-

дела сквозь щель, как двигаются их тела на сене, слышала громкое дыхание, сопение и шлепки. Между моих собственных ног вдруг разлилась тяжесть.

Я переминалась с валенка на валенок, дышать стало трудно. Горло пересохло, я стиснула зубы, чтобы не выдать себя вздохом.

И тут со спины на меня кто-то навалился.

Ледяная ладонь впечаталась в мои губы, перехватив крик. Овчина не спасла — я похолодела от страха всем телом. Хотела вырваться, ударить назад, укусить за пальцы, но тихий шепот у самого уха заставил замереть:

— Ш-ш-ш... Так же хочешь, краля?

Я крутанулась выюном, вывернувшись из жестких пальцев, отлетела на пару шагов и ударилась спиной о бревно хлева.

Передо мной стоял парень.

Высокий, на целую голову выше меня, худой и широколобый. Русые волосы падали на лоб, закрывая глаза, но я разглядела их сквозь пряди — карие, хищные. Кожа у него была светлая, а на фоне черного серого меха на воротнике казалась совсем белой.

Красивый, пропади он пропадом. До жути красивый.

— Ты кто такой? — прошипела я, чувствуя, как слабеют ноги. — Чего караулишь?

Пришлый не ответил. Снова шагнул ко мне, прижал меня плечами к бревнам и наклонился. Его дыхание коснулось шеи — холодное. Он потянул носом воздух, будто вынюхи-

вал след.

Из-за досок хлева опять полетели звуки — частые шлепки и бабий стон. Злата уже в голос выла, Кузька рычал. Парень не шевелился, просто вжимал меня в стену, а я и пикнуть не могла. Только смотрела в его карие глаза, с черными точками на самом дне.

— Отойди, — выдавила я. — Уходи по-хорошему.

— Не могу, — отозвался он тем же шепотом. — Хочу узнать, как ты закричишь. Не от страха. Подо мной. Хочешь? — Нет!

Он убрал руки, но не отошел. Голова кругом шла — то ли орать на всю деревню, то ли бежать, то ли ждать, что он сделает. Глаза его зловеще мерцали в сумерках. Из хлева всё доносились стоны, а этот чужак стоял так близко, что дышать свободно не давал.

— Отступись, говорю, — я уперлась кулаками в его грудь. Без толку, словно в валун вцепилась.

Он лишь склонил голову набок и стал разглядывать меня.

— Познакомимся? — спросил потише. — Имя есть?

— Есть имя, — буркнула я, чувствуя, как горят щеки. — Да не для тебя.

— Упрямишься, — он криво ухмыльнулся, и лицо у него стало горьким. — Лукаш я. А ты — Мирка. Знаю я все.

Я аж воздух ртом поймала.

— Откуда имя мое знаешь? Выслеживал, вор?

— Выслеживал, — ответил он прямо. — Но не вор. Ты не

видела, а я за спиной стоял. Смотрел.

— Долго?

— Сегодня. С самой зари за тобой по деревне таскаюсь. Дел у тебя много для такой маленькой.

Я чуть не прикусила язык. Откуда взялся? Чего ему надобно?

Из-за бревен донесся долгий хрип Златы. Я невольно дернула плечом и вжала голову в воротник.

Лукаш скосил глаза на щель в бревнах, а потом снова уставился на меня.

— Любишь, значит, чужую усладу высматривать, — губы у него криво поползли вбок. — Я тоже горазд. Раньше за чужими жизнями присматривал. Теперь за твоей стану.

Я сжала кулаки от гнева. Злость накатила, а сделать ничего не могу — детина на голову выше меня.

— Бесноватый ты! — прошипела я ему прямо в лицо. — Что тебе от меня нужно-то? Говори толком!

Лукаш подался еще ближе, так что его кафтан прижал меня к мху между брёвнами. Он наклонился к самому уху.

— Что нужно?... Тепло. Мне нужно оно. А ты и сотой доли не знаешь, как я по нему иссох, — выдохнул он.

Он поднял руку и провел пальцами по моей щеке. Я сжалась, зажмурившись. Кожа у него была ледяная, будто он только что руку из проруби вытащил. Но коснулся аккуратно, даже робко, как маленький.

Лукаш тут же отдернул руку, будто сам обжегся. Навер-

ное, испугался, что я заору на всю околицу.

— Не трону, — шепнул он и спрятал лицо за упавшими волосами. — Силой брать не стану, не бойся. Мне бы только рядом побыть. Посмотреть... Погреться.

— Да на что тут смотреть-то? — я попыталась оттолкнуть его локтем. — Иди к бабам веселого терема в Обзани, пускай они с тобой рядом стоят и греют! Нашёлся мне тут, доглядчик!

Я открыла было рот, чтобы обложить его ещё крепче, но за досками хлева зашуршала солома. Кузька со Златой, видать, закончили свои дела и потянулись к выходу.

Я похолодела. Если нас сейчас вдвоём у этой щели застукнут, позор будет на всю Мглань! Бабы до самого лета языками чесать будут, старосте донесут. Мама узнает. И Идан... Боги!

— Идти мне надо, пусти, — зашептала я и толкнула его в грудь.

— Ступай, — он легко отступил на шаг и освободил тропку к калитке. — Но я вернусь. Помни.

— Да провалился бы ты, — огрызнулась я.

Я рванула с места, махом перескочила кузнецову калитку и полетела к родному крыльцу. У самого порога я остановилась и оглянулась. Он так и стоял у стены хлева — длинный, тёмный, как старый верстовой столб. Смотрел мне вслед.

Я юркнула в сени, захлопнула дверь на засов и прислонилась к ней спиной, пытаюсь отдышаться.

— Кто ж ты такой... Лукаш? — тихо спросила я в темноту сеней. — И за каким бесом ты за мной таскаешься?

Я заглянула в узкую щель в притолоке. На черном небе как раз зажигались первые колючие звёзды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.